

Знаменская Антонина Николаевна

Записала Татьяна Косинова.

Интервью записывалось в течение 3-х дней на 6 кассетах с обеих сторон.

В этом файле только две первых кассеты, отредактированные интервьюером.

Текст представляет собой полную расшифровку записи, все выражения сохранены.

17.03.2004

Кассета №1, сторона А

- А как я вот воспитывалась у своих родителей. Такой, ну, правда, у меня только верующей мама была, а отец... когда была в 34-35-ом году перепись, он даже записал себя неверующим. А мама его корила: «Дак ты же, говорит, крещеный. Как же это ты?» «Крещеный – это одно. Ну, а как – я попам не верю». Как-то... Ну, конечно, это очень сказалось, мамино влияние... Ну, когда я начинаю рассказывать, как нас воспитывали в семье, все ахают и бледнеют. Считают, что это та-а-к жестоко, это так строго. Я говорю: я так им благодарна, до сих пор. Вот что-нибудь, какая-нибудь история, вот у меня уже щас..., я сразу вспоминаю маму, как надо в этой истории поступить. И я и своих внучек, это они так хихикают, а ко мне они с большим почтением, уважением и не смеют ни одного слова ослушаться. Вот так...

- Не смеют. Слушаются?

- Нет, слушаются. Нет, они, конечно, могут там нарушать, но они... Я чувствую, что они как бы считаются с моим мнением, как бы боятся все же меня огорчить. (Можно, я свет выключу? – Да, конечно) Ну, для примера, я вам сейчас приведу, вот когда мне было восемьдесят лет, вот в этой квартире, я в прошлый год отмечала, в двух тысяча третьем, и... Ну, у меня там было несколько компаний, четыре даже я принимала, – обалдела! Сама на себя удивляюсь, и ругаюсь. И в тоже время люди звонят: ой, мы знаем, мы все подсчитали, тэ-тэ-тэ, вам восемьдесят! – Ну как, надо приглашать, правда? Ну вот, и была компания: мои родственники, мои и мужа внуки, правнуки, дочь, зять, племянники мужа, мои племянники – вот самые такие близкие. Ну, вот, ну и... в конце, значит, я выступила. Такое... у меня родилось... им... ну, слово, назидание что ли, не знаю, как сказать. Я и говорю:.. Это все, правда, было. Я и говорю, что когда я родила уже дочь, я родила поздно, в тридцать лет, я как-то вдруг почувствовала, что я немножко с мамой сравнялась, а то я так смотрела снизу наверх. Такое отношение родителей... было беспрекословное послушание и исполнение, это уже закон. А тут я вдруг почувствовала, у меня такое... я помню это состояние, что и я уже теперь мама. И я говорю, я осмелилась ей сказать такую вещь: «А знаешь, мама, я из всего детства помню только дикую усталость». Она очень много нас заставляла работать – тут же сельская местность, дрова напилить, воду натаскать, огород весь обработать, белье стирать, полы мыть, это все... А все братья у меня были, я одна была, сестра жила отдельно, и это все легло на меня. Когда я это сказала, все прямо вздрогнули: как?.. Дескать, ну, как будто там, я не знаю, в лагере, что ли, я была, в концлагере. А я говорю: «А знаете, как я ей за это благодарна? Всего, чего я добилась, только потому, что меня так воспитывали». Все начатое дело доводить до конца. И наилучшим образом, а не схалтурить. Вот чтобы никогда нигде не сделать, как попало. Вот как теперь – а, так, немножко... Я и на работе была такая, меня на самом деле очень ценили. Говорили: «Ой, ну что там, у вас, у вас Знаменская там такая заместитель, чего вам горевать-то?» – моему профессору говорили. И я на самом деле, ну, не могу, у меня там, наверное, гены такие, что я абсолютно не могу ничего плохо сделать. Только это Вы никому не говорите, что я так хвастаюсь... (смеются) Вот я и сказала, что я очень благодарна маме за это... И это на самом деле так. Потому что вот преодолеть... У мамы какая была фраза очень часто: «Через не могу!» Если скажешь: мама, ну, я не могу там или... «Через не могу!» И всех она потом и своих внуков также воспитывала...

Племянница... Когда маме исполнилось сто лет, я вспомнила все мамины выражения, которыми она нас воспитывала, написала, значит, плакат такой, вывесила и пригласила племянников, которые здесь живут... Одна племянница, моей старшей сестры, она от рождения и школу, и все-все с мамой жила, мама воспитывала ее. Сестра работает, она, конечно, с бабушкой. Когда она увидела это слово – «через не могу» – как засмеялась: «Ой, правильно! Тетя Тоня, и тебе бабушка так говорила?» И мне так говорила: «через не могу». Не могу не... И потом она говорила: «При желании все можно сделать» Значит, дает понять, что ты просто не хочешь, а говоришь, что не могу. Потому что при желании все можно сделать. И поэтому вот эта тренировка – из себя выжать все, что надо, а не то, что я хочу, а вот то, что надо, что, как это, требует ситуация в жизни – все надо «через не могу».

- А что мама тогда сказала Вам на это? Когда Вы осмелились это сказать?

- А ничего, да... нет! Вот она чего сказала: она и говорит: «Так ведь плохого-то и ничего и не получилось». А я в аспирантуре училась, девочке моей было три месяца, вот... значит, я уже там заканчивала аспирантуру и институт кончила, и в аспирантуру поступила, ну вот, так она и говорит: «А ведь плохого-то ничего и не получилось. А чего же?» А еще был такой эпизод: у меня была учительница, Татьяна Ефимовна, по русскому языку и литературе, которую я обожала, и до сих пор – я и на могилу к ней посещаю, там, ухаживаю за ней [за ее могилой], все... Человек, который очень много вселил в меня хорошего. Ну вот, она тоже была сосланная, из бывших... Но об этом не говорили, а все понимали по глазам. Вот, и однажды, ну, я уже тоже вот, ребенку уже года три, наверно, Олечке было... Когда я приезжала, она всегда к нам приходила, она уже была на пенсии, жила недалеко, приходила. Мама там угощала, у нас корова была, парное молоко... Ну, вот, и я захожу, накрываю на стол, шесть часов вечера, всегда кипел самовар, и кто знал, соседи всегда могли прийти, мама угощала, ну, это так заведено, это в деревнях так было. Вот. И Татьяна Ефимовна знала, что у нас в шесть часов, и она пришла. И я так собираю на стол, чашки ставлю... Летом, я там в легком платьице, и так смотрю – Татьяна Ефимовна так на меня смотрит, смотрит. А я и думаю, чего она на меня, платье у меня вроде не грязное, что она на меня так смотрит? А вспоминаю: наверное, у меня пятки грязные, потому что босиком бегала (смеется). И вдруг она говорит: «Евдокия Потаповна – это моя мама, – а зря вы Тоню заставляли так много работать...» Она-то видела всю мою жизнь школьную, с пятого класса, я с ее дочерью училась, и они ходили к нам, вот молоко брали, мы очень близко были... А мама также и ответила: «Так а ничего плохого-то из этого не получилось». Она grit: «Нет, Тоня могла быть повыше ростом». Чего она меня обве... Конечно, она права, она права, потому что такие тяжести приходилось таскать... Я работала-то в паре с моими братьями, мальчишками, а еще вот Толя, который на два года старше меня, он вообще был спортсмен, он и боксер... ну как в провинции всем занимались, секций не было. Он и боксер, он и футболист, он и волейболист был – всем занимались. Ну вот, он такой сильный. И все требовал, чтобы я одинаково с ним, или какое-нибудь бревно поднять. Я говорю: «Да мне не поднять». – «Давай, как это так! Давай!» И все! И я все через силу делала, и я на самом деле это помню – усталость жуткая. А полы мыть некрашенные? И вот этим, голиком... «Голик» – знаете что это? Не знаете. Ну, метла. Вот не такая, а как раньше была, из березовых веток, как у дворника, только поменьше. Значит, намочишь пол, посыплешь верстой... Вы тоже не знаете, что это такое... Еще журналист – русских слов не знает! (смеется) А верста – это камень... Вот такие серые, как их называют-то?...

- Щебень?

- Ну, пусть щебень. А бывает... щебень-то получается из камней. Это обыкновенный камень, ну вот, прокаливают в русской печке несколько раз, докрасна, потом в холодную воду, а потом топором мелко-мелко вот так его размельчают, получается такой крупный жесткий песок. И вот этот песок посыпают на пол, и этим голяком вот так ногой оттираешь полы. Вот тапочки не одевали, представляете, какие полы были? КАждую

субботу, вот ни одной, сколько я с родителями жила, ни одной не пропущено, это такой закон – если суббота и полы не вымыты – это уже не человек, это не дом, это вообще... Туда нога не ступит. Вот так. Каждую субботу надо было вымыть. У нас был домик-то хоть и небольшой – около сорока квадратных метров, – но это ж надо все вот так... Ой, как дико мы, я уставала! У меня уже в пятницу начинается: «Ой, завтра полы мыть, ой, завтра полы мыть...» Вот так. Да, вот такие были работы. Но это и совсем неплохо. Ну, может, фигура немножко была б другая, это правильно. Но это совсем не страшно. Вот такие вещи будут интересны англичанину?

- **Очень! Я думаю, что он будет просто счастлив.**

- Ой, воспитывали в деревне очень строго. А это не пишется еще?

- **Пишется.**

- О, Господи...

- **Да, хорошо, хорошо, хорошо.**

- Ну ладно. В деревне очень строго воспитывались. Вот вы видели нашу сейчас парадную и лифт, да? Вдруг я вот подумала, чего-то мне недавно такая мысль пришла: а ведь в деревне я никогда ни на заборах, нигде, ни на доме, не то, чтоб там какое-то нецензурное слово, какую-нибудь царапину не смели поставить. Вот это деревня, малограмотные родители могли так воспитывать. А сейчас что делается?

- **А почему? Потому что не свое не берегут или как?**

- Ой, не знаю... Совсем щас другие ценности, щас виш совсем другие ценности. Ну. Ну, если в школе дети могут сидеть, как хотят. Ну, как это так? Я смотрю на свою правнучку – она то так сядет, то ляжет, то на стол... Я говорю... Она не может спокойно сидеть. Я говорю, что Машенька, а чего ты так некрасиво сидишь-то? Развалилась как-то, но-о-огу выставила, ну что это такое? – А я устала! – Это уже кто-то внуши... – А я устала сидеть в школе! – Я говорю: да? За пять уроков ты устала сидеть в школе? Одиннадцать лет уже тебе... Это потому что разрешают. Ну как бы у Татьяны Ефимовны мы бы с ними сидели... Вот как... [показывает]

- **Так а что заставляло так сидеть?**

- Ну тогда считалось это хорошим тоном и так полагалось девушке – никто не сидел, расставив ноги, как сейчас. А нога за ногу и руки вот так – и так сидели, и так красиво и приятно было. Ну, тогда были такие понятия, а сейчас другие. «Всё разрушили то до основания». Ну вот, значит, «а затем» мы получили то, что мы имеем.

- **А на чем все это держалось – только на представлении о том, что вот так хорошо и так надо делать?**

- Ну как же, это недопустимо. Да как это, если кто-то ответит дерзко взрослому? Да как это можно? У людей просто в-в голове не укладывалось. Еще в деревне какой был порядок : вот в деревне у нас было шестьдесят домов, так, там около четырехсот народу, ребятишек было много, двести с чем-то, у меня в книжке там все подсчитано, так если идет женщина и видит, что кто-то там из мальчишек что-то неладно делает, или из девчонок, она подойдет и им сделает замечание, если не послушают, она возьмет за ухо и приведет к родителям. И родитель скажет: спасибо, Матренушка, спасибо за науку. Никогда не осудят, что моего ребенка отодрали за уши. А если тот-то не пойдет, так отдерет как следует. А потом скажет: я твоего там Сашку-Ваньку поучила... «Да спасибо тебе, спасибо». А щас попробуйте сделать замечание просто – разнесут. И был порядок. И как ... не знаю я... в жизни деревни, так, как мы жили, до коллективизации вот, потом-то там бардак начался, ну, какие-то нравственные устои сохранялись, безусловно. Я вспоминаю, ну, с большой любовью, с большой теплотой вспоминаю. Такая размеренная, хорошая была жизнь, как-то во всем порядок, во всём свои законы, и от них никто не отступал, и так жизнь хорошо шла. Но что вот, например, драки – это точно было. Но это был спорт – каждый праздник были драки, обязательно! Ну мы же ждали даже этих драк. А как же?! Х-ой, если б грят... Мальчишки – те бегают и узнают, ой, кармавесовские уже парни пришли! Х-ой, шустовские пришли! Ну, значит, драка будет большая. Да. И они... я

понимаю, тогда такого-то спорта же не было, и они на кулачный бой выходили, дрались. Да, носы разбивали, кровь пускали, все могло быть. Окна били. Но к этому как-то относились, как – так положено. Это правда! Это было совсем не страшно, как-то не знаю вот... Но я, конечно, не ходила драки смотреть, потому что я там только до восьми лет жила, потом, может быть... Но, вообщем, так считалось, что, девочкам, девушкам неприлично драки смотреть, если кто-нибудь где-нибудь подглядывал. А вот ребятишкам непременно надо было, болельщикам – стоять и, значит, там, переживать за своих. Мальчишки ходили. Дак вот Толя, это на два года меня старше, да если драка, значит, он там посмотрит, прибежит, скажет: «Мама, там вот кто-то побеждает... Мама, тому-то уже нос разбили...» Опять убежит, опять прибежит. Так что, к этому очень даже... Это не было м какой-то даже...

- А что было причиной драки?

– «А чего вы к нашим девкам пришли? Чего вы к нашим девкам пришли?» – «А вам какое дело?» Да еще возьмет и пригласит девку танцевать. Ну и все. И пошла драка. А как же – за дело, конечно. А так-то чего им было делить...

- А на чем заканчивались драки – на первой крови? Или как, или что?

- Нет, кто победил. Вот уже видят, что не справится, победили – тогда отступают. Все, говорят, ребята, хватит, все, ваша взяла! Хорошо расходятся. Тут же они помогают, там, смыть кровь или зашить разорванную рубаху. И расходятся, они не врагами расходятся. Ну, как футболисты вот, поиграли они, друг другу руки пожали – так же и тут. Это какая-то была, видимо, разрядка.

- Никто сильно не травмировался?...

– Нет, конечно, я говорю, что носы были, ну, там я не знаю, синяки, конечно, были, может быть, разорванные штаны, вот такое, рубахи – это было, а т... Нет, уродства не было, не-не-не. Это все как-то регулировалось.

- А кольца, не выхватывали из заборов?

– А, да, в... Да-да-да, с кольями бегали друг за другом, но я думаю, что это больше для страха. И потом, если уже они вредничали и не уходили, вот гонят ребята – уходите – били стекла. Это было, это было. Ну как-то вот все решалось, не знаю, я с большой теплотой вспоминаю... думаю, и жили бы, жили люди, сами себя кормили. Таня, я в этом году, *(плачет)* мне сейчас трудно будет говорить... Я ... разыскала свой дом, в котором я родилась, в котором мне пуповину перевязали. Он был продан колхозом очень быстро, конечно, колхоз начал все же кулацкое распродавать и этим жить. И наш дом был продан. И все говорили, что Вороново, Воронов деревня, она-да недалеко была. Ну, я как-то молодая, меня так тянуло, но чего-то я заглушала в себе это чувство, я инстинктивно, я не знаю, почему... Ну вот, а потом уже, теперь мне очень хотелось вот последние десять, пятнадцать лет, – я каждый год теперь езжу в деревню... Но я не имела возможности – ноги больные, и уж ладно, я приду в свою деревню, а еще четыре километра пешком идти... Все откладывала, все откладывала. А в этом году мой племянник, который живет там, в этой деревне, за пятьдесят километров, недалеко, он имеет машину. И он сказал: «Тетя Тоня, куда хочешь, я тебя свезу». И я говорю, что Валера, значит, во-первых, поехали в деревню Обухово». А когда туда приехали, побыли там, я говорю: «Слушай, давай съездим в Вороново, четыре-то километра». Он: «Да, пожалуйста». А он говорит: «Дак а как-то ты узнаешь-то?» А я говорю: «Ну, там, во-первых, спросят, а потом, я говорю, мне это в голову не приходило, я, от, свой дом сразу узнаю». Ну, вот мы так едем, разговариваем. А он говорит: «Дак сколько прошло-то? Он там, наверное, уже и развалился, может, и дома нету тут...» А я говорю: «Ну, неважно, вот поедем – узнаем». Приехали мы. И так въезжаешь – налево продолжается м-м этот улица и направо, так мы поперек въехали. Он притормозил? «Ну, дак куда поедем?» Я говорю: «Давай налево». Как-то я не думаю... Только мы повернули, я гврю: «Стой, стой! Вот, вот, вот наш дом!» А потом смотрю... очень многого нет, чего было у нас. Ну ладно, он там теперь неокрашенный, там, и вот я... окно, я знаю, что вот здесь была спальня

родителей, здесь было окно, а тут окна нету. Я вижу... и во... но у меня нисколько, никаких сомнений не вызвало, что, ах, это и не мой дом. Я знаю, что это вот мой дом. Там крылечка нету, зашла с другой стороны – окно другое такое, где была кухня, большое у нас было, итальянское, а тут такое маленькое окошечко сделали, но я все равно точно знаю, что это мой дом. А он говорит: «Да ладно, ты тут пока побудь, а я пойду там у старух поспрашиваю». Ну, и он зашел только в первый дом и сказал: «Который дом из Обухова привезен?» А она говорит: «Вот, вот, батюшка, вот этот», и показывает на этот дом. Ну, он там с ней еще посидел, поговорил. *(плачет)* Знаете, Таня, я так молилась на этот дом!.. Я стояла на коленях, я целовала его... Это, оказывается, не надо мне было делать, это так тяжело... Ну вот, потом я пошла с этой женщиной поговорить. Старушка вышла, стоит... Подхожу. И спрашиваю... А дома так стоят, хорошие, опрятные, подкрашенные, такое впечатление, что, ну, так люди, хорошо живут. Ну, я спросила, гворю: «Кто теперь хозяин наш... этого дома?» Она говорит: «Да уж тут четвертый хозяин, все перепродают. А последний – полковник в отставке, так вот в этом году что-то не приехал, наверно, заболел». А шесть километров от нашей деревни, ну, старинный город – Устюжна, и он-то там живет, а как бы дачу покупает в деревне. Для... Конечно, для того, чтобы иметь там что-то из овощей. Ну вот... А я говорю – а сколько же тут народу вас? Она говорит: да я, да еще одна старуха. Это... это... на меня так отрезвляюще подействовало, а я и думаю: как же так? Я говорю: «А чё все остальные?» – «Нет. Некоторые приезжают на отпуск, все от разбежались...» Как началась перестройка – все разбежались. Да вот уже когда колхозы были, дак многие уже... «Полслабление», как она сказала, как началось послабление, то что у них же паспортов не было, они никуда не могли уехать. Только две старухи живут!.. Так, поговорили, поехали обратно, значит, мы в свою деревню, и едем мы через Шустово. Это на главном тракте, как называется, деревня большая, а тракт этот соединяет Устюжну с Никифорово, это тоже старинный такой городок, некий... так назывался – Никифорский тракт, и как я с детства так и помню. Ну вот, и смотрю тоже – дома такие хорошие, все нормально, крепкие. Я говорю: «Валера, давай остановимся. Спросим, а здесь-то...» Он говорит: «Ну что ты, здесь на тракте, здесь много живут». Вышли. Смотрю – старуха идет к колодцу. Я подхожу к ней, поздоровалась и спрашиваю: «А сколько здесь у вас хозяев-то живет?» Она говорит: «Да мы только три старухи». Слушайте, я же ничего не выдумываю *(плачет)*, это на самом деле как – гибнет край! А я себе так представила, вспомнила детство... Ведь да – посмотрела, а вместо полей-то все высокая трава, и кустики растут. Не используется. Ведь люди кормились этой землей, тут все кипело, люди работали и праздники справляли, веселились, женились, рождали детей, рожали – все замерло. Это в таких масштабах! Я давно еще читала у... ой-ой-ой... у меня на фамилии... ну, вологодский наш писатель, он давно еще писал, при Брежнев, что в Вологодской области как бы умерли и перестали существовать тысяча двести с чем-то деревень. Но одно дело прочитать, другое дело, когда ты видишь вот это запустение. Ну вот у нас, в нашем Обухове осталось пять домов из шестидесяти, и все заросло. И вот тоже бродят пять старух друг к другу, и все. И один там еще Коля-пьяница есть, подкармливается у старух, кому гвоздь где вобьет, где что. Вот что там делается. Очень тяжелое у меня было это лето, очень тяжелое... Такого запустения, разорения, и что эти бедные, брошенные старухи, ну, единственное утешение, что к ним приходит раз в неделю автолавка, они снабжены продуктами, вот основными, они это хоть могут купить. И все. И дальше эти дома прекрасные, с хорошими бревнами, у нас, в наших краях они обшиты тесом, покрашены, с наличниками – ну как на севере такие дома. Устюжна же – север, там даже платили северные в свое время... вот так. Это уже вот теперь результаты милых коммунистов пожинаяем. Ну, в общем, конечно... мало сказать, выдумали и слово-то новое – раскрестьянили. Крестьян раскрестьянивали. Что они не стали крестьянами, да их вообще теперь нет там, с перестройкой-то. Раз можно уехать – все уехали. А мы там ждем какой-то еще... Кто нас кормит, я не знаю – Вологодская область – так уже точно там хлеб не сеют. А ведь, Таня, вдумайтесь, вот,

скажем, у моего отца было шесть человек детей – две дочери и четыре сына, так? И они вдвоем. Значит, это восемь человек – и все мы кормились от этой земли. А земли было всего четыре га, не думайте, что там были нарезки большие – четыре га. Хлеб был свой, для коровы там сено заготавливали свое, это тут в четыре га входил и покос еще. И овощи мы получали. То есть... Скот держали, мясо имели, покупали, как мама моя говорила – карасин, в нашем карасин зовут, керосин покупали, соль и сахар, вот в основном что. Все остальное – и питались, и росли какие ребята сильные, и умные, и здоровые были, я не знаю... от земли очень даже можно питаться. Нук зачем это все было надо нарушать? А теперь по... О, нет. Легко разрушать, а строить очень тяжело. Вот так я и мучаюсь своей родиной, езжу... И жалко людей, которые там живут, такие несчастные. Но они шас довольны, что им хоть дали пенсию, какую-то. Ведь было время, что и пенсию не получали. Хоть что-то. Но они так и говорят: да на сахар и на хлеб хватает пенсии, на сахар да на хлеб. А все остальное – они уж как-то перебиваются. Кто козу имеет, кто еще помоложе там – корову имеет. А теперь покос – а ведь раньше было сложно получить покос, а теперь кругом, около дома – скоси, и накопишь себе на... это... Вот такая история с домом получилась

- А как его... подождите минуточку – его вывезли из деревни Обухово и разобрали по бревнам, что ли или как?

- Да. Конечно, разбирают и там собирают, это так. Дак из нашей деревни много, ну, все кулацкие-то дома – конечно, они покрепче, побольше, – увезли. У отца еще было построен дом рядом с нашим домом... Так он, как хозяин, решил себе: у него четыре сына, и он должен был построить четыре дома, каждому сыну. Первый Ваня был, и вот он был уже вот-вот жениться, невеста была. Поэтому он строил дом, пятистенок, такой домина. Наш – это же махонький был. Прекрасный дом. Он весь был закончен, только рамы были не поставлены, и двери не повешены. И вот в таком виде его продал... – приехал, продал это все, наверное... так говорится, прокурор из Устюжны – приехал да забрал, чего там? Ну вот. И этот дом сейчас стоит в Устюжне. Я каждый раз прохожу мимо – ну как дворец стоит. Пять окон на улицу выходят, представляете? Я пятистенок вы знаете что такое? Ничего, и это слово не знает... Таня я сейчас буду записывать, сколько вы русских слов не знаете. Это... Пятистенок – это большой дом, у которого внутренняя одна стена делит его на одну треть и две трети. Тоже ведь бревенчатая, не из досок, а бревенчатая – пять стен получается. Четыре, и эта еще пять, эта стена. А перегородки вот такие, дак из досок-то – это не стена, а перегородка. А это стена – пятистенок получался. Высокий, фундамент высокий, едешь – окна горят, удовольствие. Вот такие он задумал еще бы построить, и еще бы построил. Это все с этой земли, с этого клочка, своими трудами. Вот кому нужно около земли жить. Ну вот, дак когда я приезжала – на пустое место около дома, я ведь... тоже только прошлый год, не этот год, не это лето, а то лето, вдруг меня... я осознала, почему я подхожу к этому месту и стою, почему я не пройду по тому месту, где был наш сад, где был огород?... И решила – я увидела и решила я только... а все за... травой заросло. И я поняла, что я стояла как на кладбище, когда на могилку ногами не встают, так я к этому относилась, вот какое-то у меня было такое чувство. И вот встану, стою, посмотрю, что вот здесь был дом, а напротив нашего дома был... мирской камень назывался, большой такой, где сходки проходили, мама еще рассказывала там, до революции как было, это мирской камень. Ну вот, так я на этом камне посижу, это я могла посидеть, его поласкать, поглажу его, помню я, как залезала на него. А туда я как-то... даже мне в голову не приходило – пройти, встать на то место, где мой дом был. А вот, значит, позапрошлый год я так стою и вдруг я увидела камень, который был под фундаментом, и второй – и четко... и я знала, где дом-то стоит, но здесь какие-то четкие размеры, я подошла поближе, посмотрела – и углубления – ведь делали большие подвалы и углубления... И я с таким трепетом зашла туда. И расплакалась. И решила, что нет, больше не буду вставать на это место, на эту землю, что это все тяжело. Но вот на следующий год поехала, может, еще поэтому мне так хотелось... Он у меня все время был

в глазах этот дом, наш – белой краской покрашен, покрыт вагонкой, резные наличники, но небольшой он, три окна вот вперед был, но такой, бедноватенький...
(конец записи на стороне А)

Кассета №1, сторона В

- Дайте вдуматься.
 - Отдохнуть хотите?
 - Да нет, не так отдохнуть... Какие у вас вопросы, вот чего, я не... почему-то я не поняла...
 - А, дело делать надо?
 - Да.
 - Нет, я так смотрю – вы так хорошо рассказываете, можно без вопросов. Я вообще предпочитаю, когда человек говорит сам, не задавать вопросы.
 - Это получается ничего не делаем.
 - Нет... (смеются)
 - Нет, ну просто интересно... вы меня ориентируйте давайте... Это же, так сказать, заказ...
 - Хорошо. Была ли у вас няня, домработница?
 - Ой (брезгливо)
 - Жили ли вы в коммуналке, про отношения с соседями...
 - А, вот это... Это уже городская жизнь начинается.
 - Формирование ваших моральных взглядов, вообще устоев...
 - На это я уже ответила.
 - Родители как воспитывали детей, мама – как она работала.
 - Я как раз это и говорила!
 - Как она относилась к задачам домохозяйки, как она была как мама...
 - Как мама она была прекрасна...
 - Вот я, сейчас-сейчас... Атмосфера в семье, отец, какая она была – жесткая, строгая, или наоборот – свободная. Влияние бабушки и деда, чем оно отличалось от родителей...
 - Я не знала своих бабушек и дедушек. Я самая последняя была...
- Я хочу о дедах рассказать. Это я хочу рассказать. Я вот собираюсь написать свою родословную. Значит, так. В шести километрах от этой Устюжны, Устюжна – это у нас такой городок, вокруг вот эти были села, дак а в семи километрах от этой Устюжны имеется такой большой, больше даже, чем наше Обухово, деревня Соболево. И там жил бедный-пребедный один крестьянин. Дмитрий... знаю, что Дмитрий его... Но а по-деревенски, отчество не знаю, по-деревенски Митрий звали, не Дмитрий, а Митрий. И у них ... вот чтобы показать степень бедноты, значит, говорили: «Ой, у тебя щи-та, митрячьи щи. То есть такие, как у моего прадеда. То есть уже без мяса там, только одна капуста, причем капуста зеленая, из зеленых листьев. Это вы знаете?
- Крошево.
 - О! Хо – грамотная. Кро-ошево!.. Это самые вкусные щи на свете. Так вот такая степень была бедности. И было у него, значит, Потап, тоже Дмитрий, Кирилл, еще там кого-то не помню, кого-то еще не помню... Василий еще, кажется. Но это не точн, не важно. Так вот, значит... ага, Дмитрий был. Вот, Потап, он отец моей мамы, она Евдокия Потаповна. Этот Потап уже жил немножко получше, уже митрячьи щи – это к нему никак не относилось, чуть получше он жил, все же у него было четыре сына, рабсила была. Но вот, кажется, Кирилл-то, да, ага, вот... это еще было при крепостном праве. У нас там имения были – я возвращусь немножко, – Татищева имение было, Раевских, это я точно – дак рядом с деревней, ну, может, еще там каких-то было... конечно, их там было много. Вот. И вот однажды барыня уезжала в Петербург из деревни. Лето провела в деревне, в своем имении, а потом, значит, уезжает... а эта деревня – двести километров от железной дороги была, в Тьмутаракани. Она, конечно, едет в своей повозке, в карете – не знаю, а ребятня

играет на улице. Она остановила свою карету, смотрела, смотрела, потом говорит: «Мальчик, он ты, иди-ка ты ко мне». Это был Кирюша, Кирилл. – «Садись ко мне, поедешь со мной в Петербург». А ребятам этим, ребятишкам: «Скажите матери, что барыня увезла в Петербург ее сына...» Вот такие были нравы. Этот Кирилл уехал. Выучился там на поваренка. И, надо сказать, видно, толковенький был, и хороший повар, такой, что когда Александр III поехал свататься к вот этой... Дагмаре в Бельгию, так он попросил у этой барыни, что разреши мне твоего повара взять в поездку, потому что она очень хорошо всех угощала. Вот этот Кирилл так готовил. Ну вот, ну, он там сколько-то жил, уже лет пятьдесят ему было, это уже считалось очень много, большой возраст. Может, уже и барыни не было... Короче говоря, он какие-то там денежки подкопил, может, ему дали, не знаю... но его отпустили. И он приехал опять в свою деревню. Но он приехал с деньгами. И тогда можно было купить земли, сколько-то. И он купил никак сто пятьдесят га. Значит, денег было прилично у него. Ну, надо хозяйку. Ну вот, как ее выбирать? Как если бы он здесь местный жил, он бы здесь всех девок знал, кто чего стоит. А он же приехал, тут уже новое поколение было, не одно. Дак он придумал такой способ: каждую субботу в этой Устюжне был базар, крестьяне ехали что-то продавали, что-то покупали там, ну вот, это и я вот когда была, я знала, в субботу все уезжают на базар, на рынок, остается одна ребятня и молодежь, и устраивали шинки. Тоже не знаете слова? Шинки – это как бы угощение без родителей, сами вот когда остаются. Самое большое угощение – яишницу делали и друг к другу бегали, ели. Но это нас, меня уже не касалось, я еще была маленькая шинки организовывать. Ну вот, так он, значит, приедет на рынок, на базар, тогда назывался, увидит лотошника, вот так продавали там гребенки, ленточки лотошники – подойдет и скажет: сколько это стоит у тебя все? А столько-то. На, получай. Берет у лотошника, оденет это и кричит – девки, подлетайте, всем дарю! И смотрит, кто как хватает, кто как себя ведет. И выбрал себе – Павлину, финку, она служила у каких-то купцов в Устюжне. Вот, и женился на ней. Очень была домовитая, порядок в доме, в общем, всем она очень понравилась, эта тетка, она фактически уже мне была бы тетка, ну вот. И там родились, у него были две дочери – Наташа и Маша, и вот эта... Они обе были двоюродными сестрами моей мамы, получается. Я их обоих знала, очень тоже обе интересные личности. Но щас уж дак про этого Кирилла... он умер рано, конечно, только женился, только двое детей – это считается же очень мало. И умер. И написал завещание, оказывается – это юридически было так принято: если жена не выйдет замуж, то все наследство ей остается. Если она выйдет – только одна седьмая, оказывается. Вот такие были законы. Она, конечно, вышла. И вышла она за своего батрака, молодого парня. И как говорили злые языки, у них была любовь еще и при живом муже. Ну, и нарожала она ему еще там кучу, все они тут жили, в Петрограде потом. Ну вот... А так вот эта одна дочь, Наташа, вот, я так пишу в книжке, ее помещик-то увез, он приглядел, она красивая, вот как Богородицу рисуют – удивительное лицо, у меня где-то даже фотография есть. Ну вот, так что она такой тоже стала, барыней. А тетя Маша за богатого тоже вышла, за землевладельца, вот эти две такие очень колоритные, красивые были девицы, соболевские – такая порода была: синие глаза, русые волосы, очень густые, все они прекрасно пели и танцевали, и плясуньи, и, значит, танцовщицы, потому что вот они и бросались в глаза. Ну, это вот у Кирилла. А моя мама, значит, у Потапа. Кирилл уже приехал, понятно, с какой-то уже городской культурой, и все, и дети так воспитывались. Ну, а моя мама, и мой дед, вот эти митрячьи щи ел, вот, ну этот получше стал жить, была из бедной семьи. Но красивая. И певунья. Озорная была. И еще с такими артистическими данными, что спасло ее это в Сибири. Она на этом вылезла. Мы из Сибири на этом вылезли, она там в кружках так выступала, а тогда было модно – сразу кружки организовывали. Так мама моя так там выступала... вот. Ну, а отец вот из Обухово, а Обухово считалась деревня богатая. Соболево – лапотники назывались, потому что все носили лапотники, а Обухово – там больше половины людей были сапожниками, там лапти не носили. И когда девка выходила вдруг из Соболево в Обухово, ей говорили, что какая ты счастлива, ну-ка в

Обухово замуж вышла. Все так сказали, стремились туда. Ну вот. А брат моей мамы, дядя Ваня, с детства не любил крестьянскую работу. Как в поле идти – а он мне сам это рассказывал, он говорит, и мама много раз говорила – ой, ну Ванька у нас, как на работу только, мы там запрягаем, исчезнет, как сквозь землю провалится. А так она мне часто говорила. А когда я уже подросла, там в восьмом классе уже была, я и спросила: «Дядя Ваня, а куда ты прятался? Почему ты не ходил на работу?» А он говорит: «Тонюшка, я теперь тебе скажу, мне, – говорит, – так было смешно – они меня так везде искали, не могли найти. Помнишь, говорит, у нас перед домом большая-большая стояла береза?» «Как же не помню – залезала». – «Так вот я, – говорит, – кусок хлеба с солью в карман, книжку за пазуху, залезу на самую вершину и сижу». И там он читает, пока они не уедут. Вот так он мучился отец с ним – ну, парень, а не работает! Ну, двенадцать, четырнадцать лет – самое уже... мальчишки как в деревне? – И косили, и пахали, и все. А этот не работает. А Дуня там, да Маша – девки работают. Ну вот, и пошел, значит, мой дедушка Потап к священнику посоветоваться – что делать. Бить его, убить его за это – что в конце концов делать? (смеется) А священник сказал: «И не ругайте». Он, говорит, только и знает свои книжки. Как выучился читать – и все, отбил от рук. Ну-ка подумайте! Только книжки читает и все. Ну вот, а священник сказал – не ругайте, и не бейте – не будет он в крестьянстве. Я его устрою учиться. Поехал опять в эту же Устюжну, пришел в гимназию, там гимназия была и сказал, что вот есть крестьянский сын... Нет, он не так сказал, он сказал – вот, у меня есть родственник, очень к науке тянется, к учебе, и толковый мальчишка. «Так как он вам будет?» – спрашивают. «Да племянник». Священник солгал. Взял грех на душу. Потом отмолил. Ну, сказали... А тогда ведь не брали крестьян-то в гимназию. Ну вот, ну и сказали, что приводите. И священник его привел, и, так сказать, устроил, в гимназию учиться. Ну, дядя Ваня так стал учиться отлично, конечно, они не пожалели, что взяли его. Потом он был сам священником. Ну вот, а когда он кончил гимназию, то дядю Ваню направили учителем в Обухово, в эту такую деревню. Он был очень доволен. Ну, платили учителям и тогда не ах как много, и, конечно, молодой парень, ему там не хватало и мама из деревни, вот, Соболевой, которая от Обухово на расстоянии семи километров, она ему туда носила еду. Ну, чего-нибудь там – молока, творожка, понятно. И увидел ее отец мой, значит, будущий мой отец. Вот, и случилась у них любовь. И отец стал приходить в Соболево, на гулянки, еще такого не было, так далеко приходили. Ну вот, ну и сказал своему отцу, что вот, он хочет жениться. Да на ком? Да из... Ой, лапотники, да из Соболева, не надо нам. А у них, значит, уже умерла жена, у деда умерла, значит, и они остались вдвоем – два сына и отец, втроем, три мужика. Им женщину надо очень в дом. И, значит, дед мой, Саша, где-то выискал богатую невесту. Ну, такую, ну, все же состоятельную. Ну вот. «Вот, – говорит, – Колька, на этой будешь жениться». Ну, Колька пошел там, на гулянку, познакомиться с ней, то, другое... И дотумкал спросить ее: «А ты хлебы печь умеешь?» Ну она из такой же семьи, зажиточной. Нет, не умею, зачем это мне, у тятеньки прислуга есть. И маменька на кухне не бывает. У них уже там прислуга была, дак она не умеет. Отец приходит и говорит: «Тятя, а ведь твоя-то невеста хлебы печь не умеет». – «А твоя Дуня умеет?» – «А Дуня умеет». А Дуне только семнадцать лет. Всё умели, рано научались. Подумал, подумал, и говорит: «Ну, женись на Дуне». И вот так он разрешил жениться. И вот Дуня-то, из лапотников-то, и попала в такую семью. Да-а. Так а я помню еще, вот ну, господи, уже вот, уже после войны, вот чуть что, он скажет, вот что-нибудь, маме скажет: «Ох ты, и лапотница!» Вот там... или сапоги не почистит, или... «Ну, лапотница соболёвская! Опять там бросила нечищенные!» Или там – валенки, чего-нибудь не в порядке, не высушены. Так ее все время и звал – лапотница соболёвская. Ну это так, любя, по хорошему, он называл... Вот такой у меня был дед. Вот...

- А деда вы не помните?

- Нет, нет-нет-нет. Деда Потапа совсем не помню, потому что я последняя... рано...

- А деда отца? Тоже не помните?

- Смутно помню, помню. Он... когда женился мой отец, значит, вот Николай, у них родился первый ребенок, сын Ваня, а у него жена умерла. Так он женился снова. Представляете? Уже старик, ему там лет было шестьдесят, а привел, из Устюжны привел девку молодую, двадцать пять лет, мама говорила. Варвара. Такой вот была... хорошая, хорошая женщина. Она ему родила двоих, но не жили, обе девочки, не жили. Рано умирали. Ну вот, так вот эту бабушку Варвару и дядю Сашу... Бабушку Варвару хорошо помню. А дядю Сашу смутно помню, он, значит, умер...

- Деда Сашу?

- Деда Сашу, да. Деда Сашу. Они жили-то напротив, мы были. И я к ним, конечно, все время бегала. Я только всегда помнила, что его спину – сидит, шьет. Он сапожник был. Дед был этот тоже интересный человек. Мама рассказывала: вот, говорит, шьет, шьет – они все в Обухове сапожники, сидели и шили все, всю неделю. А в субботу едут продавать. Ну, дед не очень тщательно шил, вот мой-то отец хорошо был, хорошо шил, потому что он учился в Петербурге, его отправил отец поучиться, уж он изящную обувь шил. А дед-то мой Саша, он крестьянские сапоги шил. Так мама говорит, не знаешь, правда или нет, как-то хвастался по пьянке – говорит, Дуня, да я за день могу три сапога сшить. (смеется) Так вот, не знаю, какой... А когда ехал из Устюжны, ну, на своей лошадке, так, значит, пьяненький, удачно продал, с деньгами, едет – кричит: «Кто едет? Головин едет!» Такое было... И мама говорит, и еще помню такое, что, ну, всегда к приезду баня топится, это во всех домах так, родители и мы топили, с старшей сестрой баню – родители приедут, значит, баню, с базара, так уже баня готова. Идет, на полук, а она как невестка должна ему там и попарить, и спину потереть – ну, мужчины и женщины, взрослые, мылись вместе. Ну, муж с женой, короче говоря, ну вот... Так, а он говорит, сидит рядом, пока зайду там, раздеться, разуться, но она не раздевалась, она оставалась в юбке, а он, говорит, сидит и пачкой денег хвалится: во, говорит, посмотри, какой Головин! Ну, пачка, может, невелика там, неважно, такой психологический, так сказать, штрих, вот такие были Головины, понятно? Чтоб вы знали мои корни. (смеется) Вот, вообще он был очень строгий, очень строгий. Вот, я помню, бывало, придет, мы с Толей – значит, может быть, мне было четыре, ему шесть лет – и вот сидим, стоим сзади, не смеем подойти к нему поближе. Мы скажем: здравствуй, дедушка! Бом-бом чего-то. Шьет, он весь, он весь в деле, ему гори... Там говорит: ты сюда, Толя, а я сюда... Мы зайдем, значит, со сторон так в лицо, хотим заглянуть – дед ведь. А он как крикнет на нас: «Счас съем!» Как мы побежим!.. (смеется) А он с усами был. Вот этот эпизод очень хорошо помню. А лесенка такая, я боюсь упасть, закричу, Толя меня дергает за руку, что давай убегай... Такой был дед. Ну и он умер, осталась одна вот эта бабушка, она-то молодая, но для меня-то она была бабушкой, баба Варвара, и так она до коллективизации, все так жила напротив, а потом ушла к сестре жить, в колхоз-то не поступать, она ж из Устюжны, сестра ее была в Устюжны, она туда ушла, в колхоз не поступила. Вот, это о моих дедах. Теперь какая у нас семья была, значит, старший сын Ваня, он, наверное, был девятого года рождения, да, дальше Маня, сестра Мария, идет, одиннадцатого, через два года, так на третий рожали. Дальше идет Николай, потом Алексей, потом Анатолий, умер, и следующий опять ребенок мальчик был, его снова назвали Анатолием, потом я появилась долгожданная – сколько ребят, только одна, а девки тоже нужны были. Я появилась и после меня был еще мальчик Боря, который умер. Я грешна, наверное, я была в няньках, но мне было, наверное, лет, ну, семь-то или шесть, вот так. Мама уходила в поле, он в зыбке. Зыбка знаете что такое? Ну вот, и говорит: «Вот в стаканчике сахар, а вот это соска. Как он заплачет, ты возьми соску, пробочку вытащи, сахару поддень, насыпь туда и капни водички капельку, и заткни и дай. Он слатенькое пососет и успокоится. Ну новорожденному ребенку... Вот теперь, когда я уже педиатр, я когда... я сразу поняла, что это я его угробила, когда в институте училась, в педиатрическом. Ну, мне же слатенького-то самой хочется! Я через каждую минуту и бегаю – насыплю и себе в рот. Чайную ложку. Я насыпала, что у меня... на рожке надевается соска, вы помните, как

раньше – они вот такие длинные, под завязку вот здесь. Я ему суну в рот, а он не держит, она тяжелая – сахар-то еще тяжелый, отваливается. Я догадалась, что я много насыпала, оттуда вычерпнула, высосала, оставила немножко. И так он живет на этом, сахарном таком густом сиропе, пока мама с поля придет. Конечно, чего там... начал болеть, болеть. Почему мама молока не оставляла, не знаю – может, не было. Может, думала, что рано... не знаю. Ну, конечно, она, вероятно, не целый день, приходила... , сейчас не помню, но умер этот мальчик. Так воспитывали... Вот. А из живых осталась одна я. Я самая последняя, и уже восемьдесят один год, все старше меня. Три брата умерли на фронте. Старший, Иван, дальше Николай, и Анатолий. Очень был одаренный, умница большой, на него возлагали большие надежды учителя. Даже говорили так про него: «С вашим Толей поговоришь, сам умнее сделаешься». Удивительно, какой был парень, откуда он как-то много все знал, все умел... такой был сообразительный, в политике так разбирался, я помню. Он там с политикой... я помню, он был в десятом классе, это был тридцать девятый год, а я, значит, была в восьмом классе. Я помню, у родителей были гости, ну, там пара мужчин пришли, они так сидят, выпивают, маленькую на троих, да еще и останется – компрессы всегда оставляли, вот так пили мужчины деревенские. А теперь что делается? Ну вот, ну так выпивают, разговаривают чего-то, а это шестичасовой чай, самовар стоит. Толя тоже пришел, с ними стал чай пить. И я тоже. И чего-то вдруг начали мужики говорить о войне, там чего-то вспоминать. А он и сказал, нам тоже... А они, что вот как они воевали. А Толя говорит: а нам тоже придется воевать. «Да ну, хвала ваша война, да что ты!» Я помню, он начал все им рассказывать, где как складывается соотношение сил, как мужики слушали. А я и не вслушивалась – ой, какая-то мудрость там, про тех, про других, про Францию, про Германию чего-то – мне это было ни к чему, я выпила чай и убежала. Так я вот и понимаю, когда говорили учителя, что с вашим Толей поговоришь, сам умнее становишься. Толковый был парень, погиб, танкист, под Москвой. Это было в августе, по-моему, месяце, или в начале сентября. Когда началась, 41-го года. Когда началась война, нас всех... А мы кончили только что десятилетку, и уже учиться-то ехать не смогли никуда дальше, все остались здесь. И нас всех мобилизовали на лесозавод, там был небольшой заводик, который еще немцы построили, вот, концессию имели. И нас туда всех чернорабочими, вот кто десять классов кончил. Ну там, и рейки носили, там, убирали, чего-то такое... там где чего поднять. И вот я прихожу вечером с работы, а мама и говорит: Тоня, ведь Толя был! Как, откуда? Да шел поезд на Москву из Ленинграда и... а у нас станция, такая крупная, поэтому стоял двадцать минут поезд. Двадцать минут поезд стоял, он, говорит, и прибежал. А мы живем – ну, пять минут бежать, прям напротив вокзала, если еще не через переезд, а просто – дак совсем близко, ну вот, и рассказывает: ой, грит, в форме, и весь в коже – ну, танкист, ну вот... И попросил... А сестра моя работала бухгалтером в буфете или там ресторан назывался, при вокзале. Так мама спрашивает: «Чего тебе, хоть чем угостить?» Ну, молока там выпил. А он говорит: «Да ребята просили, если Маня может, водки достать. А мне бы конфет». Вот такой был парень. Ну а... она и сказала, мама-то, я ему сказала, где Маня, где их контора-то, а он вначале домой прибежал. Когда от уходил, так, говорит, уж я его так от крестила, так от крестила, так благословила, а он мне сказал: «Мама, плакать будешь». Чувствовал. Он понимал ситуацию, понимал, что, конечно, это будет такой котел. И там под Москвой и умер. А сказал: «Мама, этот эшелон, мы едем по личному вызову Сталина». Значит, я теперь это читаю, это правильно было дано указание: собрать лучших бойцов и под Москву, охранять Москву. Тоже подошли ведь к Москве. И там он и погиб. Только пару писем получили, что стоим под Москвой, в лесу, так... А потом ничего нет. Нету, нету никаких писем, ну вот... Встречаю я одну работницу из военкомата. Ну, девчонки, мы там все были знакомы. Она зовет меня, говорит: «Тоня, на Толю пришла похоронная». Мне, говорит, как – послать через почту или ты сама придешь? Я говорю – сама приду. Они понимали, что матери потерять такого... Толя был такой – звезда, все Пестово преклонялось перед ним. Я говорю: «Я сама приду». И я пришла, взяла эту похоронную,

показала только сестре, и все – мы спрятали, и замолчали, и молчали, пока война не кончилась. А так как были случаи, что вот пропал без вести, потом оказался... Даже бывало, что похоронка, а потом оказался живой... Так мама как-то все еще имела надежду, что, может быть, ну писем ни от кого нет. На старшего сына пришла похоронка, на среднего сына, Николая, пришла похоронка, а о Толе ничего нет. Вот она, конечно, немножко надеялась. А потом, когда кончилась война, вдруг оказалось, что за погибшего сына там будут платить двенадцать рублей или сколько там. Очень немного! Но все равно это были деньги, мама и говорит... Я уже училась в институте, она сестре говорит: Маня, так ты бы хоть поспрашивала, а как же – ведь что-нибудь должно быть, Толя-то, как, чего?.. Она говорит: мама, у нас похоронка есть. О Толе мы тебе просто не показали. Ну вот... Приехали... Или письмо написал, не помню: «Где ты спрятала?» Ну, я им сказала, где спрятала, они нашли, мама даже получала вот за него какие-то там копейки. Вот, а Алексей в армии не был, у него врожденное было очень плохое зрение, какая-то была неразвитость зрительных нервов, врожденная. Он так плохо видел. А ведь в деревне не понимали, что он плохо видел, на доске он ничего не видел, в книге не видел, как буквы писать – он плохо, очень плохо видел. Ну вот... каракули. За это ему влетало от отца подзатыльники, а у него ничего не получалось. И уже когда я училась в институте, на четвертом курсе, и мы проходили глазные заболевания и он чего-то приехал, не то в командировку, он все время на стройках ездил, на великих стройках – Рыбинское море строил, Цимлянское море строил, потом, Московский Университет, здание высотное – это он строил, ужасно гордился. Он по бетону был специалист, заведовал центральной лабораторией. Каждая, значит, ну, цемент весь, каждая партия проходили там проверку – на прочность, на еще на чего-то, на чего-то... Вот, и везде за его подписью. И вот тоже Головин, он Головин. Так он говорит – когда построили, все гремели, тогда... ну, вы не знаете, ууу, Университет такой – шутка ли это, первое здание высотное было построено. И он говорил: «И все, каждый кирпичик за моей подписью! Головин! Тогда только брали на стройку! Вот так, Головин обеспечил! А я уж, говорит, не пропущу, нигде, уж это точно». Ну вот, ну, и вот он приехал, и я говорю, что давай я тебе покажу, что с глазами-то... А все с лупой, потом-то он понял, что лупу можно иметь, так он там что-то читал, ему надо было, даже научные труды свои еще имел. Ну вот, как класть цемент в мороз. Вот вы тоже не знаете, а мой брат придумал, как. Чего-то надо было добавить, поташ или чего-то... У меня даже где-то есть свидетельство о его изобретении. Ну вот, он приехал, я попросила свою преподавательницу по глазным болезням: «Вы посмотрите моего брата». Ну, тогда, конечно, была не такая аппаратура, как сейчас, но и не то, что нам показывали. Нам-то только такое, общее ознакомление. Тут она повела его в другой кабинет, и очень долго смотрела, и сказала, что у него врожденное вот это... недоразвитость зрительного нерва и никакие очки, ничего не помогут, что помочь нельзя. Так его в армию не брали, в такую-то войну он в армии не был, вот какое зрение было плохое. А потом, интересный, знаете ли вы это момент, Хрущев когда пришел, он же тоже, Хрущев-то был малограмотный. И на производствах было очень много мало... Ну вот мой брат, он окончил два класса. И тут началась заварушка, тут чего-то такое – вот его все образование. Ну вот, а еще с плохим зрением, он писал ужасно как, ужасно, это догадываться надо было. Ну вот, а вот как производственник-то он знал свое дело, хорошо очень дело. Так что Хрущев придумал? Организовать двухгодичные институты для практиков, это называлось. Оказывается, это и здесь было, и в Новгороде вот я недавно была, чего-то разговорились, да-да. Это повсеместно были организованы курсы, университеты это называлось, или институт, я не помню, два года он туда проходил, причем вечером, не думайте, это после работы, вечером. Вот, и дали диплом – инженер. Прямо куда там. С двух классов, образование. Ну а что, конечно, свое дело он знал. Ну вот. Ну, он умер, ему было, ну 59 лет еще, сгорел он, конечно, на работе, по этим стройкам. Инфаркт. Вот и вся семья. Сестра так и работала бухгалтером, она была бухгалтером, родила дочку вначале, красавицу. У нее муж первый был украинец, тоже синие глаза, черные волосы, Сергей, ну такой был красивый, я вам

сейчас покажу портрет, у меня висит даже. Ну вот, и Галя эта была очень красивая, но, правда, небольшого роста. Тоже работала, как работала... Она все то, что я делала, потом она делала, когда я уехала. Ну вот, тоже кончила педиатрический и защитила и кандидатскую, и докторскую успела защитить, и была очень хорошим специалистом, дефектологом. Она работала с глухими детьми, разрабатывала методику, как научить глухих детей говорить. И хорошие у них там были результаты. В ГорНИИ она работала. Вот, и вся наша семья. Так.

(перерыв в записи)

- По этим вопросам?

- Да.

- Значит, давайте тогда по порядку – вот вы жили до коллективизации, это была деревня...

- Да, вот эта милая деревня, которую я так вспоминаю, и люди так хорошо жили, и неправда, что такие бедные, несчастные, бедные были только лентяи. Но и процент был, между прочим, невысокий лентяев. Вот я точно знаю, бедных у нас было – шестьдесят домов – только трое. Так одна женщина – от нее муж ушел, был в армии, остался и женился, были и такие случаи, редкостные, у а нее еще была дочка, Вера. Ну что они вдвоем, женщины? И еще семья была... там тоже две девицы были, и чего-то муж был горький пьяница, и вообще эти Афонины... И еще, Мартыновы, Афонины... кто третьи, забыла... а, ну он одинокий мужчина был, ну что-то вообще не работал. Ну миром их кормили. Всем помогали. Вот эти сапоги там, валенки новые, конечно, не отдавали, а вот так немножко поношенные – одевали, обували. Не-не-не, не голодали они, не знаю, я думаю, они там в колхозе больше натерпелись, чем... А все жили, все жили и сами себя кормили. Были крепкие мужики, вот как мой отец, которые за это поплатились. Много работали. Нельзя много работать, учтите. (смеется) Вот. Я знаю, четырех семей выслали, это вместе с нами выслали, когда раскулачивали. А потом еще, оказывается, выслали несколько семей. И нужно сказать, что все дети, вот, из кулацких семей, все они вышли в люди – нет ни пьяниц, нет ни этих бомжей никого, все они очень состоятельные, обеспеченные люди. Как у меня четырехкомнатная квартира. (смеется). Вот, ну что... а про коллективизацию вам рассказать?

- Да. Подождите, значит, это деревня Обухово, в семи километрах от Устюжны.

- От Устюжны, да, Вологодской области.

- А Устюжна сколько километров от Вологды?

- Сто двадцать.

- Сто двадцать. На север или куда?

- На север, на север.

- На север от Вологды.

- Вот этих кругом деревень: вот два километра, четыре, три километра, семь, вот так все разбросаны, очень много было деревень кругом. Я их с детства, и то вот многие помню и названия и... вот.

- А вот так хорошо вы запомнили деревню сами или по маминым рассказам?

- Ой, сама... Да вы что? Ну! Да мне восемь лет было, я уже в школу ходила. Ой, ка-а-ак я помню: я все дома помнила, у кого какие. Вот, мы идем, и я все вот восстанавливаю: вот здесь вот, вот-вот-вот... А сейчас только пять осталось. Очень хорошо помнила. Очень.

- А дома стоят вот пустые?

- Нету, все. Все вывезено, разобрано.

- Пять от шестидесяти осталось?

- Да, пять домов только.

- А вы когда приезжаете туда, вы там останавливаетесь где-то у родственников?

- Да, да-да-да. Да-да-да-да. Как, они мне троюродные сестры, оказалось. Мы потом уже разобрались, так вот... Там их было две, жили: Дуся и Шура. Дуся умерла на покосе. Она,

Дуся, их четыре сестры, так Дуся самая молодая. И умерла на поко... Не понимают. Косила и косила, вот что-то плохо, вот что-то мне больно. Ну, немножко посидит, опять косить, опять косить. Потом пошли уже на обед. Она пришла, легла и умерла. А сестра, средняя, Мария, кричит – я вот дойду до Дуськи, чего-то она все за сердце-то хваталась, да... А она тоже такая артистка, надо вам сказать. Ну, мимика богата, как она могла рассказать, как она могла сплясать, это чудо. Я все и говорю, ну, чё ты в артисты-то не пошла? «Да далеко от железной дороги, а то бы я там давно была уже Ноной Мордюковой!» Да-да-да, очень, очень артистична. Ну вот. Да и еще вот я, грешница, сказала: поди ведь еще и представляется, пойду, посмотрю – чего. Прихожу, а она лежит: «Ой, как мне плохо», – металась, металась. «Дала от я ей вот водички. «Так, может, за этим...» Там медсестра хоть, где-то – ну, надо поехать, вызвать далеко. Она говорит: «Да, это, бросьте вы, да отойдет, – я, говорит, только полежу». И умерла на ее глазах. На руках и умерла. Вот так. Вот, а еще ее сестра Шура. Вот. У них такой... ну, они хорошо так, они были как бы зажиточные, они были тоже на грани, но зацепились, остались. Муж ее был трактористам, а трактористы хорошо в колхозе жили, так что они были обеспечены, хоть и колхоз, ничего. И вот когда я к ним туда приезжала, у них была и корова, и овцы, и куры, и все. А вот два года тому назад муж, Ваня, умер. Пчелы были у них, я все мед настоящий ела...

- Они ваши ровесницы? Либо...

- Нет, они моложе, они помоложе... Ну, Ваня тот вообще... Ну, а так что помоложе? Ему было три года, а мне было восемнадцать лет только. Ну, жена еще помоложе его. Да, дак о чем-то мы там говорили...

- С какого времени вы себя помните?

- А первое мое впечатление было, я только не могу сказать, сколько мне лет, но думаю, что года два, потому что я сосала еще грудь. А кормили не меньше двух лет в деревнях, неграмотные. Далекое от науки. А теперь в каждой поликлинике, вы-то должны знать, говорят, написано большими буквами: кормите ребенка дольше, он будет развиваться умственно. Вот-вот. Так вот, значит, а мы все так – два года. И надо было отнять от груди. Делалось это варварским способом. Я помню такую сцену. Значит, к маме вечером пришли, тетя Маша пришла, это сестра отца, и еще одна женщина, ту я как-то не знала, а эту, тетю Машу, знала. И она меня на руках держит. Сидят, разговаривают, семечки лускают, и, значит, на пол. Потом сразу это подметалось, конечно. Ну вот. Ну, а я прошу грудь, я точно помню, я ее цапаю вот так, и держу, и ногами... Абсолютно точно помню... У мамы... Мама чего-то медлит, непонятно, чего медлит. А потом вдруг дала. А теперь-то я соображаю, она медлила. Она, видимо, мигнула тете Маше, что дай горчицу. Та, видно, ей как-то...

(конец записи на стороне В 1- кассеты)

Кассета №2, сторона А (17.03.2004)

– Ну? Так и что, и что горчица-то? Уже включено.

– Ну вот, я схватила грудь-то так... А го-орько! Как я закрича-ала! Я до сих пор не могу понять, почему женщины засмеялись. Вот такое было отношение. А я как закричала. Вот этот эпизод я абсолютно точно помню, все ощущения, и все. Второй я эпизод помню, был: лето, был праздник какой-то, значит, мама на кухне, все ребята в церкви, у нас маленькая церквушка была, и, конечно, как праздник – там была служба, и это большое было развлечение, все собирались в церкви. А я была маленькая еще, меня отец носил, отец в зале, вот так, ну, первая большая така комната, теперь гостиная, а раньше у нас «зала» почему-то называлась. Ну вот, и он ходит. У него была ситцевая коричневая рубашка, русская, конечно. Он, хоть крестьянин и сапожник, очень чистоплотный и любил духи. Он весь надушенный, по поводу праздника, и носит меня... Он меня очень любил. Долго не было девочек, и он меня очень любил, и потом я на него абсолютно похожа, абсолютно.

Вот его портрет, вон, посмотрите. Меня узнавали так, по дороге уже взрослую. Если я иду, говорят: «Ай, в Обухово? Так Николая Александровича ли ты дочка?» – вот так узнавали. И он меня очень любил. И вот, значит, он меня носит, а я вот так подпрыгиваю, и я понимаю, что ему тяжело меня держать, так что мне где-нибудь, может быть, уже три года было. А может, те же два, вот не помню. Но еще так он ходил, носил меня на руках, ну вот, потом что-то я сказала ли, сделала, я не помню, но вдруг он вот так рукой меня за спину взял и к себе притянул, прижал и так поцеловал, от души. Я вот теперь понимаю, вот он, нужно это ребятам вот такие, изъявления такой любви, так это запоминается. Вот я так это помню, вот ощущения все это... И он такой чистый, душистый, в рубашке в новой в этой, в коричневой, вот это помню. Ну, а потом-то уж, Господи, я помню как мама уходит на работу, в поле летом. А всегда ведь цыплята обязательно, с курицей, не казенные, а свои, и обязанность детей была следить, чтобы эти цыплята не попали в огород, не разрыли бы там огурцы да еще чего-то, посадки. Ну, она уходит, и говорит: «Смотри, чтобы тут (стучит по столу)... За цыплятами смотри». Ну, только бы, Господи, где там... На другой конец умчишься, там играешь. У меня была такая жажда движения, что я иногда останавлиюсь, и думаю: «Господи, ну, когда бы мне набегаться досыта?» Вот это и в школе было. Вот какое внутреннее, такое... было, видимо, ну... возбуждающий такой сильный процесс был. А торможение-то, видно, не очень. Попадало мне за плохое поведение. Ну вот, мама ушла, а я в другом конце. Вдруг бежит Толя за мной: «Иди, мама пришла. Вот тебе щас будет!.. Ты чего, не следила за цыплятами?» – «А ты чего не смотрел?..» Ну, в общем, являюсь я, мама говорит: «Почему ты не следила за цыплятами?» – «Ой, мама, я забыла». – «Ну, я тебе щас память пришью», – сказала мама и куда-то пошла. А я наивно спрашиваю: Мама, а как ты память-то пришьешь?» Я рада, я не возражаю, пожалуйста! «Мама, а как ты память-то пришьешь?» Она грит: «Щас увидишь». Нашла голик вот этот, значит, веник без листьев, совсем, еще и сухой, подняла мне платье, этих, штанов не носили, и всыпала мне как следует. И все, с тех пор я уже не уходила. И уже цыплята ни разу не попали. Вот вам и воспитание крестьянское. Так было больно! Но а вот уже когда коллективизация там началась, это я тоже очень хорошо помню. Во-первых, сразу стали уезжать, мужчины, отцы в Питер. Вот я знаю, его двоюродные братья, отец мой, там еще были, Богдановы такие, Михайловы, соберутся три-четыре мужика, уезжают. Потом приедут, чего-то стали уезжать, чего-то... видимо, искали, как, где, чего – пристроиться. И потом смотрю: Богдановы уехали, Михайловы уехали. Головины там... нас много Головиных там было, больше половины деревни, там все родственники. Стали уезжать некоторые, и не возвращаются. Живет уже семья одна. Отец пару раз уехал, потом приехал и сказал: «Вот что, никуда я больше не поеду. Буду в своем доме жить». А мама и говорит: «Так ведь говорят – выгонят всех». Уже начались там собрания. А он: «Да как это меня и с моего дома выгонят? Я вот так об косяки упрусь и никуда не пойду». Такая наивность была. Ну и вот, ну и начались собрания. Вначале отец ходил, приглашали. Потом объявили, что ты кулак, тебе на собрания ходить нельзя. Мы только уже там, через других узнавали. Ну, и народ к нам очень хорошо, надо сказать, относился. Когда уже дело дошло, что будут отнимать, отнимать имущество, мы очень много спрятали. Но не мы, а нам соседи прятали. Причем, причем такой был Пужинин дядя Вася, царствие ему небесное, он был на фронте раненый, одна нога у него не сгибалась. Он высокий был такой, они все Пужинины были высокие такие, красивые. Так он на собраниях, женщины-то потом говорили... Говорят про этого Васю: «Пужинин, – говорят, – на собраниях тошней всех кричит, что раскулачить их надо, выслать их надо!» А это он, чтоб его не выслали. Хитрый мужик. Он только тоже был, он мельник был, у них мельница была своя. И их не раскулачили, ничего, оставили. Сообразил. Ну, вот, а там придет и говорит: «Николай Алесаныч, так чего вам, кожа там, чего спрятать? Сапоги готовые? Ко мне не придут! Я там так кричу, я такой там большевик!»... Тогда большевики там... «Я такой там партиец!».. И он нам очень много спрятал чего. Он, потом еще там одна женщина, Пелагея, «тетя Поля» ее звали, – тоже. Помогали, прятали.

Ну, конечно, не мебель, ничего, но вот кожу, сапоги, вот там еще чего, какие-нибудь отрезки дорогие, еще что-то такое, я уж эти подробности, не знаю. Они помогали. Ну вот. Ну и, а потом, значит, вдруг приходят в один прекрасный день... Да, уже отец был арестован, правильно. Вот интересно, как мама мне сказала неправду. Ведь отца вначале посадили, потом нас... Отца в двадцать девятом году посадили. А дело было так – вот когда они, мужчины-то ездили туда-сюда, все решали, оставаться или уезжать. И вот в один день его двоюродный брат, Василь Василич, дядя Вася, он на краю жил, мама с отцом туда пошли. Праздник какой-то, Петров день или, я не знаю, что, ну вот, мы дома были. И там что-то такое случилось, не знаю, мама все что-то потом переживала, шептались с отцом, я совершенно не знала, что и почему, но а только поняла, что вот могут отца и арестовать – вот это. И в августе Ильин день, 2 августа, это наш престольный праздник, нашей деревни. В каждой деревне еще свой праздник был. Ну вот. Утро, в церковь сходили, все разошлись, приехал... всегда в Ильин день к нам много народу приезжало, ну вот, из того же Шустова, из того же Соболева, конечно, мамин там сестры-братья приезжали. Ну вот, у мамы на стол накрыт в этой зале большой, пирогов напечено, ну, все как полагается. Ну вот, а нас, конечно – стали гости собираться, детей выгоняют, по крестьянской педагогике: «Марш на улицу, вам здесь делать нечего, тут выпивать будут, еще какое слово скажут». Я никогда за столом со взрослыми не сидела в детстве. Ну вот, ну я и вышла, конечно, выскочила. Только вышла – смотрю, идут двое, с портфелем оба, у одного-другого, и не наши, вижу, что городские мужики. Я сразу сообразила, что мама говорила об аресте отца... И я вернулась и говорю: «Мама, какие-то идут двое, с портфелями». Мама охнула: «Ой, говорит, все». Села. А я так стою еще, на кухне. И, действительно, они входят: «Головин?» – «Головин». – «Все, собирайтесь, вы арестованы». Мама говорит: «Да дайте хоть человеку поесть-та». А гости, вот такие яства. Им некогда ждать: все, давай, пошли. Так мама говорит: «Может, вы бы сели, поели?» – «Нет!. Не-не, не-не, там все...» И увели отца. И был он в тюрьме в этой, в Устюжне. Это уже был сентябрь, я уже в школу пошла. И отец... А мама ходила каждую субботу передачи носила.

- В 29-м году было?

- В 29-м году. Вот, и потом мама приходит и говорит: «В следующую субботу отец просил тебя привезти, так ты попросись у учительницы». Суббота-то ведь была рабочей, учились. Ну, я попросилась у учительницы, чтоб не приходиться мне, и мы с ней пошли. Ну вот, так что я эту тюрьму помню, и теперь, когда там прохожу, думаю: «Вот тут...» Она и до сих пор стоит там, эта тюрьма. Вот, а я тоже как... не знала, что я была близорукая, я думала, все так видят – вблизи видишь, а там уже, там все мутно. Ну вот. А мама мне говорит: «Вон, вон-вон, на окне стоит» Отец так забрался за решетку, чтобы меня-то посмотреть. «Ну вот, видишь?» А я говорю: «Вижу, вижу». Я думала, все так видят, и он меня так видит. Я так по очертаниям вижу, что... вот. Ну а потом суд, дали ему три года, и вот на Соловки его выслали. И мама нам объяснила так, за что отца арестовали, она говорит: «Да вот мы тогда были у Василия, сидим, горе горюем, как же, у всех дети. Куда? Что?..» Такая смута началась. Одни говорят: надо ехать, другие... Вот отец тогда встал и сказал: Я вот так встану и... не уйду». И вдруг ... стук в окно (это мама говорит), стук в окно: «Эй вы, кулаки! Чего там собрались?» И, значит, предупредили, что мы идем, и заходят в кухню. Это вот уже, ну, активист, первый комсомолец, Коля Кузьмин. А вот, Кузьмины еще были, да-да, третьи, вот, Кузьмины, самые бедные, он был... А он, как я потом выяснила, уже позже, он даже был инструктор райкома. И он уже тут собрания проводил, колхоз организовывал – это все он. Ему там было, ну, восемнадцать, не знаю, так-то лет... Ну вот, и как мне мама сказала, говорит, что стали в дверь стучаться, а хозяин-то не открывает, решили, что не будем отвечать, пусть они постучат, да уйдут. А отец, говорит, вышел. Открыл двери, а они хотели войти. А он, говорит, их толкнул и сказал: идите, сопля этикие, вам нечего здесь делать. И закрыл. Вот и все. Зачем толкнул комсомольца? Да еще «соплями» обозвал. Ну вот, и вот за это дали три года. Я так и в книжке все

написала. А потом, когда можно было взять судебное это дело, оказывается, совсем было по-другому. Оказывается, они вошли, и вдвоем, и один из них был из Устюжны, из райкома, второй-то, не наш, значит, они вдвоем, они уже шли как власть, как представительство. Ну вот, ну и вот да, что он говорит, что вы тут собрались, вы против советской власти. Хозяин, дядя Вася, он такой спокойный, он сказал... Да, еще почему, потому что этот Коля у этого нашего дяди Васи был в учениках, учился этому... сапожному делу. Так он говорил, что «Коля, ты же знаешь, ты уже у меня тут целыми днями работаешь, какие мы могли, мы же ничего не говорим против Советов. Надо – так надо, будет колхоз, так будет...» – вот такие начал разговоры. А Коля не уходит. Ну, ладно, их угостили, все, идите, ребята, идите, дайте нам посидеть. А они не уходят. Вышел отец. Мама говорит, я его не пускала, не вмешивайся, подошел и сказал, тоже, что – уходите, чего вы тут. У нас свои дела, своя компания. А Коля сказал: «Я твоего брата убил, и мне ничего не было. Я и тебя сейчас могу убить». И погрозил ему оружием. Все ведь тогда с оружием ходили, комсомольцы. Ну вот, ну отец вскипел – он же Головин. Он, значит, взял его, и стал выталкивать. И вытолкнули, еще хозяин подошел, в общем, Колю вытолкнули. Вот за это... Он на дядю Васю не подал, потому что он учится у него, а мой отец, да еще взащей вытолкал.

- Действительно он его брата убил?

- Да, да-да-да. Дядю Ваню. Двоюродный брат, двоюродный брат. А я помню это. Вдруг мама приезжает, такие взволнованные, и разговаривают... Но она в основном, рассказывает старшим, не мне, а я-то, слышу, что Ивана-то Михалыча убили. Да как? – Она детям рассказывает, те-то уже взрослые были, а говорит «Сидели, вечером, пили чай или ужинали, и он как раз перед окном сидел. А дело осенью было, на улице темно, и он на фоне это занавески-то был виден, и выстрелили в окно, подошли и выстрелили в окно». То есть, это Коля сам сказал. Я, говорит, убил его и мне ничего не было, и тебя, Головин, убью. Вот и все. Ну и получил он три года за это. Там, показания все, очень...

- Вы когда с делом знакомились? После того, как книжку написали?

- Да, да. Да-да-да.

- Здесь?

- Здесь, здесь. Большой дом. Я так волновалась, Танечка, я взяла внучку, я говорю, Люба, я одна не могу, я... мне кажется, что аж сердце разорвется (плачет). Ну вот. Ну, вот так все рассказывали. Что пришел, нагло себя держал, обзывал, что они такие-сякие, а его только просили: Коля, уйди, не начинай скандал, уйди. А отец его повернул за плечи, и, значит, к двери сопроводил. А он тогда сказал: «Ну, ты вспомнишь меня». Вот это была правда, что «будьте свидетелями, что он меня ударил».

- А приговор там как звучит? В деле?

- «За агитацию против советской власти», еще чего-то. Тройка судила-то. 58-8, что ли там, и все. Три года он там отбывал. А нас в 30-м году в Сибирь сослали. Ну, уже у нас в доме ничего не осталось. Забрали все. Только одна кровать такая, походная была, железная, все-все вынесли. Ну, и то, что на нас было. А это было начало мая, а май это там севернее, еще холодно, и мама подвязала мне шаль, такую теплую, и так, сзади чтобы, на лошадях ведь ехать. Коля увидел, говорит – нет-нет, эта шаль описана, все было описано, и Коля все помнил, чего описано, даже шаль. Она говорит: Коля, дак, ну, девчонка, ведь холодно на улице» – а май-то такой бывает, что еще и снег пойдет, ну вот, – «в такую дальнюю дорогу едем...» – «Нет, все, нельзя». Толя прыгнул на печку, пошуровал и нашел там какую-то старую шапку, зимнюю такую, с ушами, мужскую. Так одели меня, ну ничего, все ходила, так в этой шапке и поехала. Посадили, вышли мы: стоит лошадь, кругом народ стоит, много, ну, мы с Толей сразу забрались, уселись там, сенцо положено. Дети, так еще толкаемся, хохочем, не понимаем, куда-чего. А мама встала на эту телегу, поклонилась на все четыре стороны и сказала: «Бабы, простите, если я кого-чего, кого обидела, так простите меня». Бабы стоят кругом, плачут, кто искренне, кто неискренне. И вот и повезли нас. Ехали мы месяца, наверное... ну, мы в конце августа приехали, с мая – вот

все лето ехали, ехали и доехали до Сибири, да Алтайского края. Ну, так это там уже другая история...

- А еще про отца, про арест. Вы сказали, что передачи носили еще какое-то время в Устюжну?

- Да, в Устюжну, в Устюжну. Это еще в 29-м году. Мама говорила, что ... Отцу все соберет, принимали передачи, ничего. Потом мама еще такой эпизод рассказывала. Что суда нету, и результатов нет, и держат, и держат. А дело, так сказать, надо урожай убирать, в крестьянстве, как без мужика? Кто-то ей подсказал: ты сходи, говорит, там к начальнику, спроси, что когда там суд, и будет ли, не будет ли, как чего, какой результат-то? И вот мама рассказывает: грит, иду, показали, где, я, грит, вошла, а он говорит по телефону, этот начальник. Я, грит, слышу, как раз про отца: «Головин сознался. Ведет себя хорошо». Еще какая-то была фраза. Мама говорит, мне уже делать нечего, я поняла, что, значит, сознался, что, значит, был суд. Значит, я, говорит, потихоньку-потихоньку и ушла. Пришла с этими новостями домой, потом, значит, узнали, что три года. Если он, значит, вначале не сознавался, а потом сознавался, так мы теперь хорошо знаем, как это, чем это достигалось. Люба [внучка], так та сразу сообразила, говорит: «Бабушка, так значит его били». Я говорю: «Выходит...»

- По делу-то видно, да? Что первые протоколы...

- Да.

- А вы не копировали дело?

- Есть у меня переписанно просто, есть-есть. Люба писала, и я писала, все допросы, никто – да по допросам там ничего не пришьешь, потому что, ну, ничего не было. Пришли выпить в праздник, нормальное дело, ни-ни... никогда не напивались, у Головиных ни-ни-ни, чтобы как другие там напиться... да и вообще как-то в деревнях у нас так не было. Это считалось стыдным напиться, идти по улице шататься... Это теперь все как-то хорошим тоном считается. Ну, разговаривали, какая неприятность... Вот, ну, и четыре года мы там...

- А как вы узнали, что в Соловках – он письма оттуда писал?

- Да, да, я помню. Кем? Вот, я помню, что я сама ему писала, мы переписывались, мы были в Сибири. А вот другая-то Таня спрашивала, Моргачева, а что, говорит, у вас не сохранилось? Я говорю: «Да нет, да там понятия не было, да все по старому... Боже мой! – всё, всего боялись. Те же письма там держать еще какие-то... Да-да-да, даже я, у меня такой вроде хороший почерк был, и я писала на конверте адрес, у мамы тоже был плохой почерк – ну, два класса, чего там... Ну вот. Дак я еще... Переписывались, переписывались. И было так, что очень много семей были без мужей, без отцов. Женщины и дети. Привезли, кулаков таких. Врагов народа. А те имели другой – срок, и отбывали. И несколько человек, отбыв срок, приезжали к своей семье. Мы вроде считались на поселении. Вроде так звучало – «спецпереселенец». Это не-не-не, не тюрьма, ничего... И приезжали, сразу становились тоже спецпереселенцами. А с нами в бараке рядом был такой Алексей Петрович, он с Волги откуда-то, имел чайную, он образованный был очень человек, начитанный. Я Пушкина все сказки от него вначале ... целыми вечерами. Лежит, у него был туберкулез легких, он немножко поработал на лесоповале, и его освободили. И вот он лежит, мы, ребята, все вокруг него сядем, и он нам читал. Ну вот. Так он сказал: «Дуня, напишите своему мужу, чтобы он сюда не приезжал. Он тоже будет ссыльный. Тогда останется насовсем. Пусть едет, где-то устраивается, и пусть хлопочет, чтобы вас отсюда освободили». Вот грамотный человек чего нам подсказал. Мама ему так и написала. И он когда три года, меньше уже отбыл, и поехал в свою деревню, конечно. Его в колхоз не приняли. Он бы с удовольствием работал бы и в колхозе, его не приняли. Он поехал в Устюжну. В Устюжне нигде не мог устроиться, потому что это тут все живо еще, и к врагам народа было соответственное отношение. И он вот остановился – станция Пестово, это пятьдесят километров от Устюжны, железнодорожная станция. И был там председателем исполкома Папин, забыла, как его зовут, фамилия Папин. Видно, мужик

неглупый. Отец пришел к нему. Вот у меня эти документы, что он освобожден, все, отбыл срок и так далее, и говорит: «Жить-то на что-то надо, мне бы какую работенку». – «А что умеешь делать?» – «А что бы вам надо?» – «Да нам строители надо». – «Я – строитель». Сам дома строил. Ну вот. И взяли его работать. А они там не спрашивают, где живешь – еще прописки не было, так ничего не спрашивают. Ну вот, документ, что освобожден, пришел. Он где-то снимал, как он говорил, у старухи за печкой, занавесочку сделал и там где-то он и спал. Вот, а все остальные дети разбежались. Сестра, и брат, два брата – как почувствовали, молодежь разбежалась, только маленькие остались. Вот я, Леша, ему там было чего-то лет четырнадцать, и Толя. И мама. А большие уже разбежались. Это можно было скрыться. Ну вот. Ну вот отец работает, плотником. Сразу заметили, что он человек знающий в этом деле, сделали его бригадиром. Ну уж тут он и взял всех в руки как следует. Уж так они начали тщательно строить, его Папин-то уже и пожалел. Видит, что мужик-то толковый. «А где ты, – говорит, – живешь, Головин?» – «Да, – говорит, – за занавеской у старухи там у одной, на Пролетарской». Он говорит: «Послушай, вот там на улице Красных Зорь сторожка бывшая. Ты посмотри, чего надо подделай, да перебирайся». Ну, отец обрадовался. А сторожка так из двух маленьких комнат, ну, метров, наверное, шестнадцать, вот такая. Вот так, только вытянутая немножко. И перегородочка. Там печка, а здесь как бы холодное место, а там теплое. Ну, он там устроил, все. Вот мы в эту сторожечку-то и вернулись из Сибири. Ну, старший брат потом к нему приехал, узнал, что уже есть жилье. А средний, Коля, тот на стройках, на стройках на этих все был. Ну, и живем мы себе там, живем, свои трудности. Первые два года были очень тяжелые, очень много народу умирало. Вначале были... в бараках мы жили. В этих... было четыре барака и пятый...

- А где это, географически?

- Ой, где-то бы карту достать... Вот если едешь, едешь, едешь, проехал Новосибирск, между Новосибирском и Красноярском, или Читой, не доезжая до Читы, есть станция – Тяжин. И станция с интересным названием Яя. Так можно и на этой, и на этой. Так вот мы приехали на станцию Яя, приехали, нас выгрузили, ну, мы еще месяц жили под открытым небом там, нас еще распределяли, в какую Тьмутаракань направить. Потом двести километров на юг, туда, к монгольской, двести километров по дремучему лесу мы ехали, по тайге. Там было построено четыре барака и такой маленький, мини-дом, где жил комендант, ну там еще фельдшер, вот так. И жили там уголовники. Так уголовников послали дальше, а тут, значит, семейных-то, здесь поселили. Но было так много народу, что были нары двухэтажные, и просветов не было. Вот так все подряд, вот так как тесно можно было бы повернуться, вот так мы все залезали, втискивались. Ну, а какие-то вещи у нас не было. Тут в проходе у нас какой-то сундучок был, не было вещей-то никаких. А потом чего-то стало убывать, убывать, все свободней, свободней. Мы сундучок тут уже поставили вроде, на втором этаже, нам это очень нравилось, с братом, мы вроде там столик, потом еще место. Чего-то стало освобождаться. Потом нас перевели, это был как бы летний, печки не было, а началась зима, нас перевели в другой барак, тоже двухэтажный, и все было занято, но стояла большая русская печка, можно было готовить. А то мы готовили на костре, в том бараке. А здесь уже в печке. Ой, как женщинам понравилось, вот. Была рядом с нами, была семья немцев, и потом сибиряки. Потом были дедушка с бабушкой какие-то, он рыбак, я не помню, это он только и рассказывал, как он рыбачил, и какие он рыбы п... У них детей не было, у двух стариков. Ну, он рыбу, конечно, мастер ловить, и продавал, и конечно жили хорошо. За это попали. Потом еще и я даже не знаю, это вот кто рядом. А там еще и не знаю я, сколько было, и так тесно-тесно, столько народу! Это в очередь, пока чугунок один вскипит, отодвинут, другой, но как-то женщины тихо, ни скандалов, ничего, все настолько было... Как вот люди выдержанные были, уважительно относились друг к другу. Ну вот, на печку по очереди залезали: как кто слезет, и значит, ждешь. Вот, и вроде ничег... Потом как-то незаметно вдруг этих старичков не стало, потом там какая-то семья жила – тоже куда-то... мне невдомек, а

мама, видно, правильно делала, не говорила – умирали люди-то. Стали умирать, умирать, первые два года были очень тяжелые, а во второй год еще дизентерия косила нас. А в первый год – сыпной тиф, вот мама болела сыпным тифом. А старший брат, которому было четырнадцать лет, он на лесоповалах был. Все, кто мог, и женщины... Оставались здесь только дети и старухи, вот. И мы с братом остались вдвоем, и мама вот там вот лежала, это, в пятом бараке. Тяжелый тиф, но выжила, ничего, выжила вот. Но и... А теперь уже, когда я... А потом нас вообще осталось тут – раз, два, три семьи... четыре семьи. Но довольно... в общем, у нас уже вторых нар не стало. Верхние нары сняли, только внизу, и так хорошо, четыре семьи жили. Да, один, два, три, четыре семьи жили. Вот этот, который держал чайную, мы, немецкая семья и вот сибиряки там. Уй, здоровые! Они занимались продольной распиловкой леса. Вот. А я теперь, когда стала уже читать литературу, оказывается, было тоже дано указание, чтобы осталось не больше двадцати пяти процентов, остальные... чтоб погибли. Слушайте, ведь есть же такой документ. Из кулаков. Не больше двадцати пяти. Вот, вот а я когда это прочитала, я сразу мужу говорю: «Боря, дак вот почему у нас потом свободно-то стало! А я как-то... Но я знала, что умирают, умирает много, но что это спланировано столько...

- А мама где работала?

- А вот маме повезло – мама с собой взяла Евангелие, и конечно, как верующий человек, каждый день читала. Надо сказать, что сибиряки все были неграмотные, и молодежь. Со мной в первом классе там были по пятнадцать лет, по четырнадцать, девахи такие, и парни большие. Они занимались своим хозяйством, у них было по тридцать коров, так что им не до учебы. Вот... Так что мама читала Евангелие, а, значит, комендант каждый вечер обходил нас, так было все же демократично – не мы к нему, а... Когда было много народу, мы к нему являлись все. Мама нас соберет, значит, он выкликает, мы долго стоим, ждем, когда нас отметят, так сказать. А тут он уже стал обходить. И вдруг видит, что мама читает, и говорит: «Вы грамотная?» – «Грамотная». – «Будете работать почтальоном». – «Ладно». А нас привезли... Вот это, значит, двести километров мы отъехали от дороги. Центральный Рудник назывался, он и сейчас есть. Так Центральный Рудник и на картах есть, Центральный Рудник. Там добывали золото. Такой поселочек небольшой. Эти, искатели там жили, магазины были, товаров много, рынок богатый. Золото все же есть золото. Ну вот, и мама стала ходить туда. А это было двенадцать километров. А мы в поселке Шалтырь. Называлась река Шалтырь, маленькая, и, значит, поселок. Ну, вот эти пять домов, барачков, вот. И мама стала туда ходить. И это, конечно, нас тоже очень спасло, потому что летом мы насобираем ягод, а мама продаст. А нельзя было продавать, на рынок-то не пускали ссыльных, уж как они там определяли, не знаю, ну, может быть, можно было, но мама боялась, конечно, раз запрещено. А она пока идет мимо домов и предлагает – вам не нужно ягод, я вот завтра пойду, дак... Каждый день ходила туда. Зачем? Ну, сколько-то писем принесет, можно было раз в неделю – каждый день ходила, двадцать четыре километра. Туда двенадцать и обратно двенадцать.

- Через лес?

- Да, да-да, дремучий лес. Дремучий. А мы с Толей, вот Толя был вот такой, что действительно все мог. Десять лет человеку – такая тайга непроходимая! Как он там ориентировался? Я-то с ним только вот за подол держалась, я ничего не могла, я поэтому и не научилась ориентироваться в лесу, потому что все время на его... А мы как идем – ведро черники. Нам запросто. До обеда наберем, а мама снесет, и там кое-чего-то купит, и все... И из одежды даже. Вот мы этим и жили. А потом засушит, много сушили – малина, черника и голубица там была, вот, три сорта ягод. Ну вот, и мама написала, значит, что ты к нам не приезжай. Да. Вот вернемся к отцу. Он там, значит, делает трудовые успехи, и уже работает бригадиром, вошел во вкус, ну, где там – до работы сам не свой... А вот этот дядя Ваня, который мальчишкой не хотел работать, а потом стал священником, он, значит, сделал так: когда началось гонение на священников, он, начитанный человек, сразу сообразил, нечего ждать, все равно арестуют, и он пошел на лесозаготовку... на лесоповал, ,

там тоже всех отправляли, арестуют и на лесозаготовки на лесозаготовки там он. А он сам туда пришел. Вольнонаемным. И работал там, еще и с сыном со старшим. И пережил вот этот момент. А потом услышал, что вот мой отец вернулся, тоже в это, в Пестово пришел. Так-то их учили не только молитвам, он че-то бухгалтерское дело знал, счетоводом устроился в конторе, работал, ну, конечно, к отцу там каждый день уж, в свой-то домик, тепленький ходил, это ж... У них тоже все отобрали. Все отобрали, и жена одна осталась, у ней было шесть человек детей, ну вот, так взяли за руку и вывели, и все.

- А с церковью что сделали?

- А в Соболеве? Разрушили. Сейчас ее нет уже, церкви. А дядя Ваня вот смылся раньше времени тык, тем более, там...

- А у вас в Обухово? Как с церковью было?

- Нет, у нас была такая махонькая церковь на берегу пруда – тоже нету, ничего, даже камня никакого не осталось, только березки вот так, как были посажены вокруг церкви, все. Писали...

- Так что сделали-то с церковью?

- Так разобрали, сломали, все. И нам писали, как вот этот колокол сбрасывали, и как крышу стаскивали, и какое это было веселье... Ой. Ну как же, ну как же – был, грит, представитель из райкома, и прям пятерку поставил, как хорошо они сломали церковь. Но она была небольшая, деревянная, ее легко было ломать. Ну вот. А дядя Ваня и говорит: «А что, говорит, Николай, давай напишем, чтоб Дуню-то освободили». И написал письмо, махонькое, оно у меня тоже есть, копия, что вот мы, семья оказалась в разных местах, это очень трудно, и маленькие дети, так вот я ходатайствую, чтобы ее освободили.

- А кому писал-то?

- А писал в комендатуру. В комендатуру писал, все, в Новосибирскую комендатуру. Ну вот. А когда мы только приехали, было собрание, всех, значит – старшего от семьи, на собрание. Мама оттуда приходит, а мы уже спим – не спим, но уже лежим на своих нарах, все подряд, даже Леша еще с нами был. И мама забирается к нам на нары и говорит: «Ребята, чего на собрании-то сказали! Если будешь хорошо работать, да еще участвовать в какой-то общественной работе, так могут и освободить». И она этим очень одушевилась. Ну вот, а Алеша вот, старший, спрашивает: «Ну, работать хорошо, это понятно, это крестьянину говорить, а че это «общественная-то работа»? Так этот Толя десятилетний, откуда-то он знает, он грит: «А это надо в драмкружок вступить и на собрания все ходить». (смеется) Вот никогда это не забыть. А мама говорит: «Да?» – «Да». Потом приходит, она приносила почту, этому, ну, газеты там, какие бумаги – коменданту, а потом придет домой, и нас посылала, мы по баракам бегали, разносили письма. Приходит и говорит: «Толька-то прав, оказывается. Какой-то драмкружок». А Толя говорит: «Так ты, мама, запишись». И она записалась. И стала там выступать. Да так хорошо, на ней там все держалось, все главные роли вела. Вот, значит, работает хорошо, на собрания ходит и в драмкружке участвует. Вот приносит она в один день ему там, коменданту бумаги, он и говорит, прочитал и говорит: «На тебя запрос есть, Головина. Надо характеристику мне писать». А отец написал, что я написал письмо, и мама-то сразу и сообразила, что это, видимо, значит, уже характеристику. Вот в волнении уже мы. И она нам все по секрету говорила это. Ну, какое время прошло. Видимо, она уже снесла туда характеристику. Комендант говорит: «Теперь вот я характеристику на тебя, Головина, написал хорошую, а уж как они решат – это от меня не зависит. Жди». Вот мы ждем и ждем, ждем и ждем, идет время, а они не очень торопятся. Вдруг опять она ему приносит, ну и немножко ждет, видимо, может, какие-то распоряжения или что, он при ней просматривал почему-то, и говорит: «А вот тебе и бумага пришла. Тебя освобождают». Ну, мама, конечно... представляете, первые, первые только мы вот. Приходит, нам шепчет. Еще и боимся и сказать, и не знаешь, как, что... Ну вот. Ну и начали собираться. И опять же выручил нас этот Алексей Петрович. Этот, у которого чайная-то была. Он сразу сказал – значит, собираться надо, а он сказал: «Напишите мужу, пусть пришлет водки. В дороге

пригодится, без этого...» Ну, 34-й год, как ходили поезда? Сколько народу? Конечно, там билет не купишь, не сядешь. Вот. А там какое-то время было указано, что не завтра уезжай, а с какого-то еще чего-то, так что время есть. Ну и мама написала, он прислал якобы сухари, большой ящик, а внутри две бутылки водки. Мама это все дело спрятала, ну и наконец вот настал момент, что нам нужно уезжать. Этот опять, Алексей Петрович, говорит, подозвал ее: «Сядь, (а сам лежал уже, плохо даже ходил и говорит) – вот, Дуня, послушай. Билет, конечно, ты не купишь. И не старайся. Ты садись без билета. Так как? Так вот слушай. Остановится поезд, ты подходи сразу с вещами, с ребятами к проводнику и суй ему поллитра. И скажи – посади ты меня, а я потом билет куплю, у меня деньги есть, все, только чтобы мне сесть». Ну вот, так мы и сделали. Подошел поезд, остановился, ну, мы туда ехали вообще первый раз в жизни на поезде, туда ехали мы телячьих вагонах. Здесь мы не понимали, что есть мягкие, есть плацкартные, есть общие – мы этого не понимали. Какой остановился против вокзала, мама и подошла. И действительно, он так вот машет, ничего не говорит, только сказал: «Скажите, что я отошел, а вы сами сели». Мама говорит: «Ладно, ладно-ладно, ладно». Поднимаемся мы, а там ковер. Это купейный вагон, красный, как сейчас помню. Это для меня вообще было – первый раз в жизни видела, ковер красный. Тепло-о, светло-о! Ну, там в тамбуре еще, где вот уборная, вот тут еще так заглядываем. Ну вот, вдруг входит проводник, а поезд тронулся уже, уже едем. Вдруг входит проводник: «А это что за безобразие?! Кто вас сюда пустил?»
(конец записи)

Кассета №2, сторона В.

... [Алексей Петрович еще маму учил:] «А сядешь в вагон, да начнут выгонять – ты суй им книжку ударника». Ведь ссыльным... там тоже были ударники, у мамы, конечно, была «Книжка ударника». «Вот, сразу в нос им суй. Это сейчас, – говорит, – в почете». Мама и приготовила куда поближе. Ну, значит... «Да, потом – говорит, – ты разыграй сцену, что у тебя был билет, и ты его потеряла. Ты у нас артистка – ты сыграешь это». Мама прекрасно это сыграла! Она расплакалась, искала, нас ругала, что как это так, я из-за вас билет потеряла... Ну, импровизация была – на уровне! Ну, шум, мама плачет, мы тут плачем тоже, я тоже заплакала, а Толя нет – он понял, видимо, а я нет, я тоже: «Я не брала, я не видела!» – кричим. Вдруг идет командир в военной форме, важный такой. «Что вот здесь за шум?» А этот, проводник говорит: «Да вот, понимаете ли, без билета сели». А мама кричит: «Да был у нас билет!» – «Да какой вагон?» – «Да, я не помню, какой, вот поближе. Мы поздно пришли, дак вот поближе мы тут к вокзалу вот в ваш сунулись. Был у меня билет, все, и показывает этому начальнику книжку». Он посмотрел, говорит: «Ага, все понятно». И документ, что мы освобождены, и все. Он говорит... А Толя по этому коврику идет на руках, он научился ходить на руках. Тот так посмотрел: «Этот ваш вот? Ну, молодец!» Говорит проводнику: «Устроить и мне доложить». Тот говорит: «Пошли-пошли-пошли в общий вагон». Взяли мы тут свои манатки, заходим – а там народу! А там народу – везде сидят, ноги нет поставить, а он проходит и говорит: «Граждане, потеснитесь, потеснитесь, начальник велел, начальник велел.. «командир»... Командир велел, командир велел, надо посадить, надо посадить женщину с детьми». Чего-то раздвинулись, и сели мы на место, и так тепло, народу много. Ну вот, и он говорит – я на остановке куплю вам билет. А мама дает деньги, спасибо, что все, все-все-все, все было разыграно, принес билет, так мы и доехали. Вот так.

- А станция Пестово – это по дороге куда?

- Это между Москвой и Петербургом, почти посередине. Но только это не Октябрьская дорога, звалась она у нас Мурманская раньше, Мурманка, и там магазин был, вот это... Но еще после войны ходил поезд, значит, Ленинград – Москва Бутырская. Он приходил на вокзал Савеловский. «Москва Бутырская», там Бутырская тюрьма рядом с Савеловским вокзалом. И шел он чуть не двадцать четыре часа – тихо-тихо, на всех остановках останавливался. Сейчас его нету. А Пестово – Ленинград свой поезд каждый день ходил. Пестово – Ленинград. Вот так было. Хорошо придумано. Но...

- А сколько ехать было? На этом Пестово – Ленинград?

- Двенадцать часов. Ночь едешь, в девять часов сядешь, в девять утра приехал...

- И была область Ленинградская?

- Ленинградская.

- А сейчас какая?

- Новгородская. Сейчас Новгородская. Вот, и мы доехали до Москвы. Вот, как раз на этот Савеловский вокзал, приехали. А нам этот Алексей Петрович все рассказал: «Вы приедете вот на такой-то вокзал, вам нужно сделать пересадку, вот туда-то переехать» – все рассказал. Ну, конечно – грамотный человек, и он там, наверное, и учился, и бывал не раз, так что...

- А он откуда сам был, этот Алексей Петрович?

- Я не помню, какой город, но с Волги. Вот с Волги он там был. И рассказывал, что вот такая река-а, столько... Он вообще-то учителем, и жена его учитель, а он, видно, этот НЭП, что ли, немножко занялся, вот это организовал, поверил, наверное, был бы учителем, его бы, наверное, не выслали. А он чайную решил завести. А его и раскулачили, и сослали. И так и она умерла потом, мы уехали, уже писали, что она тоже умерла, девочка у них была грудная – умерла она, потом, значит, он, тоже без нас, но мы переписывались, в общем, все они там погибли. Ну вот. Мы сделали пересадку, и доехали прямо до Пестово. Выходим – нас отец встречает, дело было зимой. Чудо-перечудо.

- И как он встречает вас? Вы помните этот момент?

- Я отлично помню. По-моему, он даже и не поцеловал нас. Вот так за нос потискал (показывает), потом к себе вот так потискал и все. Конечно, мама заплакала, безусловно, сразу, как же. «Ну как доехали? Хорошо доехали?» Приходим, у него... мне вообще показалось это ... прямо райский уголок. Маленькая комнатка, кровать, железная, которую спас на этот Пужинин, когда нас выгнали... наша кровать, где наши родители спали и мы все родились. Несомненно, наша кровать, знаете, с шариками никелированными, и перина была наша... Вот, это все что у нас осталось от прошлого. Так что помогли люди – много чего там было. Вот, стулья, комод, оказывается даже. Вот сейчас комод там, в Пестове стоит, это еще родительский... Но так что кулаки тоже ушами не хлопали, старались свое добро немножко припрятать. Вот, ну, пришли – у него печка натоплена, хлеба положил – ешь сколько хочешь, какая-то похлебка там сделана. Ой, мне так показалось – диво дивное, как хорошо. Ну, а на второй день мама сразу пошла в школу. Как же, и так в дороге-то пропустили сколько-то дней. А я не понимала, я хорошо училась или нет. Как-то не понимала, нам отметки... он к себе так где-то ставил, а у нас дневников не было...

- Он это кто?

- А учитель, учитель.

- Вас учили?

- Учили. Учили, нас учили, да. Вот.

- А кто был учитель – тоже ссыльный?

- Нет. Вольнонаемный был. И был там еще такой интересный эпизод. У нас вначале был учитель, очень симпатичный, он к нам очень хорошо относился. И за что-то его убрали. Видимо, за мягкость. Потому что он с ребятами организовал кружок рукодельный, столярный. Они сделали коньки, сделали, делали лыжи, всякие табуреточки, ну, в общем, опять начали там богатеть. Нельзя же так, чтобы ребята еще и лыжи имели. И его чего-то убрали. И пришла к нам дама. Она оказалась женой коменданта. Комендант сменился, и она сменилась. И, значит, он приехал с женой, и она у нас, значит, стала преподавать. Такая тетеха, ну, она мне нравилась, ну, конечно, вели себя хорошо, боялись, все, ну вот... Ну а ребята, конечно, иногда пошаливали. Я-то как самая маленькая, я в каждом классе была последняя, всегда самая маленькая.

- По росту или по возрасту?

- По росту, по росту, по росту. Я вот и в Пестове училась, всегда последняя. Там говорят – стройся, а я не спешу. Пока они там все... Ну дак а я все равно последняя, чего я там буду ждать? Ну вот. А... забыла, о чем я хотела сказать...

- **Тетеха, тетеха...**

- Да, и вдруг... учила, по-моему, как-то нас неважно, ну, ничего – учебники были, мы учились. Я не знаю, что ребята себе на задней парте себе там позволили, это уже было в третьем классе. Значит, я первый, второй – на третий год, примерно. Вдруг она меня вызывает и как она завоет! «Враги народа! Кулаки несчастные! За дело вас выслали! Вас всех здесь заморить надо!..» Можете себе представить? Конечно, гробовое молчание, наругала-наругала она нас, отпустила чего-то домой. А вот сибирская семья жили – значит, муж с женой и девочка Мария, она старше меня, но мы вместе были, в одном классе, и еще сын, тот взрослый, вот он пилил с отцом. Ну, я чего-то, ну, так сказать, неприятно, но не оскорбилась, у меня никаких по этому поводу мыслей таких, чтобы отомстить, у меня не было. А она вечером, когда мы сделали все уроки, – а уже теперь у нас свободно, уже третий год, вот, – позвала меня туда за печку, и говорит: «Слушай, давай напишем про нее, что она нас так обзывала!» Я грю: «Давай». «А ты перепишешь?» Потому что она плохо писала... Как-то не давалось, уже взрослая была, лет тринадцать уже. А вот, у меня, я говорю, что был хороший почерк. Я говорю: «Ладно». И вот она, значит, пишет своим почерком, что вот наша учительница вот так-то обзывалась, все, слово в слово изложила. А нам это обидно, мы не виноваты. Кулаки – наши родители, а мы-то причем? Почему мы-то в кулаки попали? Ну вот. А как передать? А был как бы директор школы еще, который учил старшие классы, вот. А мама моя, она стирала белье этим учителям, они были без жен. И она стирала белье. И я каждый раз, значит, она там уложит, все завернет, и я им относила. Я очень любила относить, потому что они всегда дадут мне или конфетку, или печеньеца. Ну вот. И тут я прибежала, значит... Да, и мы что догадались, это Мария, конечно, она говорит: «Ты носишь белье, ты сунь туда письмо-то и передай». Представляете, какие? Сибиряки – молодцы люди. Мы – эти вологодские телята. Все же не очень на это... Да-да, ребят вологодских звали «вологодские телята». Да, да... они простоватые были такие, добрые так вот, не очень, не хитрые. Бесхитростные. Ну вот, я и положила, отдала. Ну, а потом-то в следующий раз надо было идти, еще нести, я, значит, опять прихожу, так, стою в ожидании. Они взяли пакет, дали мне положенную мою конфетку, я уже было повернулась идти, они грят: «Погоди, Головина. Правду вы написали?» А мы там написали, что писали Головина и Артемова, Маша и Головина Тоня, и нарисовали еще каждый свою елочку зелененькую, раскрасили. Все сделали по-детски. Ну вот, я говорю: «Правда». – «Ты смотри, не обманывай, это дело серьезное, тебе плохо будет» – начали запугивать. И тут у меня Головин проснулся. Я говорю: «Правда, все правда написано, мы не умеем врать. Вот так!» Повернулась и пошла. Вышла и думаю: «Хой, выгонят из школы! Как я им грубо сказала...» Ну ее сняли, моментально сняли. Вот так все же было, что нельзя, это было. Вот с одной стороны, да, чтобы их только двадцать пять процентов осталось, а с другой стороны – видимо, себя компрометировать не хотели. Вот.

- **А Толя учился в другом классе?**

- А Толя уже в пятом, и он уже в этом Центральном Руднике учился и в общежитии там жил. Там он научился на руках ходить, многому чему научился. Научился даже рисовать эти... деньги. Бумажные. Это я вам еще расскажу, эту... Талантливый был – и музыкант, и художник, и черт-ти что, и физкультурник везде первый – вот такой у меня брат был. Ну вот. И прислали нам, вот я не помню, как его звали, небольшой такой – вот, вот он был хороший учитель. Ну, я не знала, какие там у меня оценки. Мама пошла, взяла... а маме дали справку. Она пошла, что дайте справку, чего, я не знаю, что там-то поступить. А там все «пятерки», не «отлично», «отлично» тогда было, «отлично», «отлично», «пятерок» не было. Оказывается. Мама на второй же день пошла в школу, приходит и говорит – а волновалась, что возьмут или нет? – ссыльные, кулаки, ведь могут не взять в школу... А

она приходит... Ну, и у Толи все «пятерки». Ну тот в пеленках уже получал «пятерки». Ну вот, приходит и говорит: «Ребята, завтра же идите в школу, как посмотрели документы, гряд, так таких-то еще, у нас еще таких-то и нету. Разве можно не взять таких отличников?» Вот как мы попали. Ну, конечно, я старалась, и Толик старался. Он все на «пятерки», и я потом за ним тянулась на «пятерки».

А насчет денег, как Толя нарисовал... Значит, на каникулах, вот, сидит, рисует. Цветные были карандаши и по-моему бумага обыкновенная из тетрадки. И он трешку... Были трешки. И он так скопировал, все-все-все, вот так вот каждую, там волны, там все-все-все нарисовал. А каждый вечер-то приходит этот комендант. Ну вот. «Ну че ты – грит, – тут делаешь?» А Толька сразу закрыл, соображает. Он говорит: «Что ты тут делаешь?» Тот глянул – треха. Говорит: «Ты чего, закончил?» – «Да тут еще немножко». – «Ну, закончишь – завтра отдай мне». Ох, мама и начала ругать. А я... откуда он видит? Она приходит, двадцать четыре километра пройдет, надо нас накормить, и лечь отдохнуть – она и нос никогда не совали, чего мы там делали. Вот хоть деньги фальшивые... Ой, как мама расстраивалась. «Боже мой, да что ты надумал, да теперь уж нас куда зашлют, и не знаешь, что...» Толя молчит, видно, понял, что конечно... Ну вот. На следующий раз приходит комендант и говорит: «Ну-ка, давай твою треху». А Толя еще что сделал – потер рукав, сложил несколько, чтобы было видно, что она... Он говорит: «Да, ну ты совсем молодец». И ушел. Сказал «ты молодец» и ушел. Мы ждем, когда нас арестуют еще раз. Вдруг, на следующий день приходит, вот такой пакет печенья несет – большой, такие в серую бумагу заворачивали. «Вот тебе, молодец! Приняла, – говорит, – у меня дуреха, эта, продавщица, твою треху – я, говорит, на твою треху купил. Когда она, говорит, положила в кассу, я сказал – а ну-ка посмотри внимательней. Она посмотрела и ахнула. Ну, он ей заплатил деньги, ну а вот тебе за то, что ты вот такой молодец. Оказывается, и не надо переживать. Но больше, говорит, дай мне слов, больше этим не занимайся. Треху не вернул. «И больше этим не занимайся», – говорит. И маме сказал: «Смотрите, это, – говорит, очень опасно». Но он как, конечно, это понимал, что... Так что, такой Толя у нас был. Брат. Мне так с ним трудновато было, потому что он меня все время тянул до своего уровня, и не понимал как это, тоже, как мама, как это – чего-то не мочь? Вот мы наберем ведро ягод, идем. А ведь это далеко, тут уж весь лес рядом, около поселка-то, он уже повырублен, кусты помяты, здесь по ягодке собирать. А нам надо придти, чтоб много, собрал – вот такие места выискивал. И уйдем далеко. Пока собираешь – и спина болит, уже устал. Идем обратно. Он шагает себе, такой был крепкий, вот, а я еле успеваю, плачу. А еще надо ведь и ягоды нести. Значит, большая палка, повесим и держим еще. Ну вот, и тянет меня. А я плачу, что я устала, давай отдохнем. Так он мне и объяснил, что ты вот, дурочка, не понимаешь, если мы быстро идем, так мы меньше устанем, потому что мы быстро и дома будем, и все. А так мы будем до захода солнца да отдыхать и еще больше устанем. И я ему верила и бежала после... Да.

- А что если там, в ссылке?

- А что ели? Два-то года, сейчас, когда мы приехали, нам даже пайки стали давать. Мука, крупа и даже сахар. Ну, мы думаем, так-то просто жить. А потом бах, подошла зима и нам ничего не дают. Потому что нам сказали: дорога завалена снегом, не пройти. Ну вот. Это мама тогда первый год не работала. Не пройти. Вот в этот от голода многие умерли. У нас как-то сухари были, мы чем-то, какими-то... как-то жили, я не... А-а-а, да! Уже этот Леша был на лесоповале, а там их кормили. И он один раз в неделю приходил и приносил хлебца, там чего-то такое. Вот... Как-то мы вытянули. А потом нам разрешили, они видят на второй год или вот на третий, я не помню, разрешили землю вскопать и посадить картошку. Так эти сибиряки, там же были сибиряки из Барнаула, скажем, это же рядом-они написали, им семян им всяких прислали. Но картошки-то они не прислали. А картошку... Комендант сказал, что я напишу записку, и Головина принесет очистки. Вот там такая земля и такой климат – вот мы не понимаем, что мы имеем. Весь мир знает, что эта Сибирь у нас – золотое дно. Во всех отношениях. Ну вот. Только мы это не ценим.

Мама и пошла, пошла за почтой да зашла, и принесла в мешке-то много. И несколько раз носила. Да все говорили: «Да разве вырастет из очисток?» Ну в нашем климате – никогда. А как мы, Таня, работали, когда разрешили землю-то вско... Надо же целину, надо было вначале эти... пни выкорчевать. Дети, старухи – абсолютно все были, работали – ну, кулаки. Одно слово. Да разрешили посадить чего-то. Вот вы не представляете, какой это был класс кулаков. Это были такие кормильцы, правильно ведь говорил Калинин – что, говорит, надо в колхоз-то... кулаков-то в деревне оставить, они будут нас кормить, а кто вот не может в деревне прокормиться, пусть, говорит, в город дворниками идут. Так на него так цыкнули, он впал не в милость у Сталина. Ну вот... Как мы работали! Вот это я помню. Там лето ведь очень хорошее, теплое. И вот мы как выходим, а как мы... нам дают... Ну мне, значит, уже было, скажем, девять уже лет, десять. Толику, было значит, двенадцать уже – мы уже подростки. Вот мужик приходит, говорит: «Ребята, вы вот этот пень корчуете». И начнет рассказывать. А мой всезнающий брат говорит: «Мы знаем, знаем». Никогда в жизни мы пни не корчевали. Он говорит: «Знаем-знаем, дяденька, знаем» Все. И мы корчевали. Поотрубили все, потом все подкапывали, подкапывали... а лопата одна, а я руками. А я оттуда руками, вот так... в такой азарт входил. А потом эти жерди, там мужики наделали жерди большие, камень подкатишь, подсунешь, и мы вдвоем на ней и прыгаем, и прыгаем. Он расштан, вытащили... Я это так отлично помню! Я всю технологию... и любой пень теперь могу. (смеется) Ну вот... И посадили. И такая картошка выросла! Мама так удивлялась! Ой, знали бы, говорит, наши, крестьяне-то – из очисток – там удобрений не надо, ничего там не надо, там такая удивительная земля – а тут еще целина была. Вот мы картошку... Сразу мужики вырыли подполье и туда картошку... И вот на эти четыре семьи – ну, разделили там по едокам. И вот тогда мы ожили. Мы там картошечкой питались. А потом мама как пошла уже еще этим работать почтальоном, она уже деньги имела и приносила, я помню, был период, хлеба совсем не было, вот картошка все, картошка. А оказывается у мамы где-то было зашито золотые часы. Это сестре были куплены. Дамские золотые часы. Как она старшая, ей уже семнадцать лет, тоже на выданье, уже отец думал, что ей надо в приданое, и вот как-то сумели, значит, провезти. Дак мама терпела-терпела, но видит – деваться некуда, и эти часы поменяла на муку. Белая, пшеничная там, в Сибири. Приехала, пришла, муки принесла. Испекла настоящие, настоящие белые такие хлеба, всех, конечно, угостила, мучки там раздала, а так мы чуть-чуть добавляли, хоть к картошечке, к чему-то – как вместо масла бы. Разведут эту мучку кипятком и к картошке. Между прочим, очень вкусно, надо сказать. Честное слово.
(перерыв в записи)

- ...Остается в мозгу, никуда она не девается. И все. Окостенел там.

- **А вот еще, давайте если по этим вопросам, по этим разделам – вот вы помните о том, кто были вашими героями для подражания в школе?**

- Ммм, хм-хм, да, это интересный вопрос. Если киногерои – то, конечно, такие, как молодогвардейцы. Хотелось быть на их месте, очень сочувствовали все, вот. А в смысле вот литературных героев – ну, вот как нас учили? Анна Каренина – положительный тип, а муж – отрицательный. И мы честно это выучивали. А в душе я Анну совсем не оправдывала, и не воспринимала. Мне с моим таким воспитанием кондовым крестьянским – ну как это так? То уши какие-то... причем тут уши? Ей уши, видите ли, не понравились, там еще чего-то. А он такой работяга был, ну, сына любил, ее. Но мы не смели об этом даже сказать. Даже между собой нельзя было сказать, понимаете? Потому что, ну, вот скажем, там у меня была подружка Надя, я бы могла ей это сказать, и она со мной согласилась бы... так она: «Ой, брось ты, Тонь, это. Как велели, так и выучили, и все». Хотелось же тоже поговорить. Или, скажем, этот – Евгений Онегин. Ну конечно, у меня были все симпатии на стороне Татьяны. Хотя в школе так там пытались, что вот она такая... сухая такая, не ответила на это чувство этого, Онегина. Ну, правильно она все

делала. А вот из кино – какие же из кино-то?.. Господи... Очень мы были влюблены, конечно, в Петра I, в кино в исполнении Симонова. Вот нам казалось, что, ну, это прямо он живой сошел со сцены. Буквально мы запоминали сцены и разыгрывали их. Вот. Теперь... Ну, конечно, «Кубанские казаки» – ну ни в какую не лезли у нас, там ни одного героя для нас не было. То есть лично для меня, ну и там для моей, может, подружки. Это уже там такая уже накрученная была... Ну, вот эти киноэпопеи – «Падение Берлина»... Конечно, в душе коробило, чего так возвеличивают, что... ведь пока... Вы не смотрели это кино?

- Я помню эти старые фильмы...

- Да, уж так, ну конечно Бога, Иисуса Христа он [Сталин] там изображал, на фоне его, идут полки, все клятвы приносят... Это уже побольше стали, как-то это критично относились. Но, Боже мой, конечно, не смели сказать. Это невозможно... А вот что касается прозы, ну, конечно, уж все мы были влюблены в Тургенева, и вот эти тургеневские барышни, вот это для нас образец для подражания был у нас... вот так.

- А пионеров-героев каких-нибудь помните?

- Ну как же, (смеется) Морозова. Ха-ха! Да-а. А ведь не задумывались они, что этот Павлик Морозов, его таким героем сделали – а на что они замахивались? На самое святая святых – подорвать уважение и любовь к своему родителю. Ну, разве это возможно? Так чего мы теперь пожинаем? И делали, что вот он, он такой-сякой. А мне особенно, вот там, может быть, в городе, вы не знали, что такое кулак – ну, действительно, враг народа, такой-сякой, от всех кусок хлеба отнимал, да? А я-то видела, что такое кулак. Как мой отец работал. Не разгибаясь. Я ложусь спать, вот в девятом уже, десятом классе, это уже 39-1, 40-й год, занятия, было много уроков, нам много задавали уроков. Теперь надо и уроки не задавать, чтобы дети чего-то там знали. А нам много задавали уроков. Я и сижу, сижу, сижу уже, до часу, все, надо спать ложиться, а отец сидит, шьет. Надо было что-то приработать, потому что маленькие зарплаты были. Я встаю в школу чтоб идти, в восемь часов – к девяти, а отец сидит, шьет. Он уже встал, и еще надо перед работой еще немножко сделать. Вот такие кулаки для меня. И такого отца – предать. Ну, не укладывалось у меня...

- А был в школе Павлик Морозов у...

- В наших? Да нет, явных-то у нас не было..

- Да нет, не в смысле живых, олицетворения, а в смысле вот...

- Почитания? Конечно. Конечно, почитали.

- **Это уже потом в Пестово или еще раньше?**

- В Пестове. В Пестове-то я с четвертого класса уже, я кончала четвертый, считайте, уже полностью с пятого. Так что я весь этот пионерский возраст, это все там у меня пройдено в Пестове. Конечно, ну что вы, как нам долбили. Как восхваляли.

- **А вы что-нибудь думали про себя? Об этом?**

- Конечно, думала. Да еще как. Так вот только сказать все было нельзя.

- **Ну а что вы думали, вот что вы помните из того, как это все укладывалось – одно говорят в школе, а...**

- Да. А очень даже укладывалось, потому что я знала, что если скажешь неправильно – повезут тебя опять в Сибирь. И все, и молчали, и мирились. Вот какое-то еще есть качество у человека, вот смириться, ну, безвыходная ситуация. Или ты будешь ходить в школу, учиться, потом в институт поступишь – но молчи. Или ты только рот откроешь – все, тебя выгонят. Ведь выгонят, у нас ведь исключали очень легко из школы.

- **Из школы?**

- Конечно. Да за поступки. Вот я вам скажу. Я после школы... ой, ну да, когда началась война, учиться-то нельзя было ехать, не работали институты, по крайней мере, в Ленинграде, меня послали в школу преподавать. Ой, как-то фамилия-то у нас была... Юра... Гришаков, что ли, не помню. В шестом классе. Ну, такой озорной, сообразительный парень, но такой озорной, такой озорной. И, ну ладно там, бегал, прыгал,

ругали, умиряли. А до чего он додумался – он принес бритву и за девчонкой, которая ему нравилась, Рита у нас была такая, Щеточкина, очень симпатичная, пальто взял вот так разрезал сзади на спине. Всё, его исключили из школы. Вот такое было... так правильно было. И побаивались зато. А сейчас хоть что – ни за что не исключают. Вот, конечно... На второй год оставляли, совсем нередко. Уж человека или два обязательно оставляли. Оставался. А сейчас ставят «тройки». Смотришь – ну совсем не тянет, ставят тройки. И вы знаете, как это объясняют? (переходит на шепот) Не буду говорить, чтобы в Англии об этом не узнали...

– Ну пусть-пусть...

– (вновь говорит в полный голос) Ну, вот, видите, какой сторожевой пункт? Объясняют это так, что надо ставить тройки, чтобы он быстро переходил из класса в класс и вытолкнуть из школы. А если на второй год, это затягивается его пребывание и дурной пример, влияние, так лучше побыстрее. Ну, что за психология? И ребята знают, что ему все равно поставят «тройку». У меня в одном классе учились Рита Образцова – у нее мать была историк, нам преподавала, и она историк, здесь уже преподавала, в Ленинграде. Так она говорит: девчонка в пятом классе – ну ни в зуб ногой, ну ничего историю, что-нибудь такое интересное, вот я расскажу, все, ну не открывает и все, не учит и... Но я вот ей говорю там – слушай, Иванова-Петрова – ты останешься на второй год. Я же тебя не аттестую. Ничего ты не учишь. Она, говорит, смотрит на меня нагло – пятый класс – и говорит: поставьте тройку, куда вы денетесь. Ну, слушайте... Ну, я бы тут или ушла бы из этой школы или положила бы свой диплом. Ну, как после этого работать? И учить. Это такая козявка так сказала.

- А у вас такого не было?

- Ой, что вы... Боже мой, вот что у меня еще в жизни, мне повезло, я очень любила школу, мы все любили школу. Это я неправильно говорю «я». Мы все любили школу, у нас были очень хорошие педагоги. Потому что это педагоги, которые... их выслали на 101-й километр. Был еще такой вид репрессий – отсылали из Ленинграда, к нам приехали в один этот злополучный 37-й год. Вдруг к нам наехало педагогов всяких, и какие они были мастера своего дела, раз, во-вторых, образованные и как они интересно уроки вели. Мы на них смотрели, как на бога.

- Это в 37-м году было или раньше, в 35-м?

- Нет, это именно в тридцать... сейчас, я... 35-й, 36-й... да, в седьмом классе мы были, 37-й год был. И у нас немец был такой, Александр Михайлович Мазельсон. Так мы бы почти заговорили все по-немецки, как он... Аон, оказывается, с Кировского завода, был секретарем... освобожденным секретарем... как это называется? – парторганизации. Ну и там, видимо, чего-то не в ту колею заехал, и его быстренько к нам на 101-й. Но он знал язык, и вообще такой очень одаренный человек. О, мы его тоже все любили. У нас так жизнь закипела, и всякие кружки – и струнный, и хоровой, и драматический, и танцевальный, что вы, нет, мы... Я все хочу в свою школу... Но я была, надо сказать, в 2002-м году, нет, в 2003-м... В феврале месяце нашей школе, которую я кончала, десятилетку, исполнилось семьдесят лет. И они устроили, значит, юбилей. И всех, кого знали из живых, еще оставшихся, приглашали, в том числе, значит, я получила приглашение. Ну вот... Ну, и потом там приходили ко мне, беседовали, я свою книжку подарила в свою школу. А у них там, ну такой музей, теперь уже музей – была выставка, теперь он музей там, и книжка моя там, фотография там – целый отдел. Ну вот. И вот учителя, вот как вы, все спрашивают – а как вы к этим... педагоги, а как вы относились... Я говорю, чего рассказывают, у них начинают меркнуть глаза, и я вижу, что они мне не верят. Они мне не верят, что можно так к учителям относиться. Потому что у них сейчас, а я почему это знаю, дочь моего племянника, который живет вот там вот, в родительском доме в Пестове, она сама преподаватель, она кончала эту же школу, которую я, потом кончила Педагогический институт в Новгороде, в Великом Новгороде и попала в эту же школу к своим учителям. И вот она рассказывает, она-то еще как ее учили, она к

родителям ходит, разговаривает, там убеждает... Ну, и рассказывает такие эпизоды, что я понимаю, что они мне не верят. Если теперь уже там они ходят с мобильными телефонами, и на уроке сидит – а! – разговаривает. Я говорю – как? Она говорит – так. Они говорят: «А может быть, бабушка моя умирает, мне звонят». Наглость такая, распушенность. Один вообще закурил на уроке. Ну, и это как они мне поверят, что мы только в глаза смотрели. Ну, я, например, я шалила на уроках, это уж я скажу вам, да, с пятого класса. Я туда в четвертом, вот... ну, тут я из Сибири приехала, ой, тихонькая да отличница была. Учительница была так рада, я одна у них была отличница. Ну, я очень старалась. А в пятом классе уже разные учителя-то получились. У меня какая-то свобода. Ну, а там какой-нибудь тупой ученик что-нибудь у доски мыкает, мэкает. Ну, я там ч-ч-ч, начинаю вертеться, я в таком смысле – ну, там разговаривать, записочки передать, все, на уроке. Это было, это было. Но меня все время учителя любили, потому что я училась хорошо. И они понимали, что скучно. И вот пока тянут, этот отвечает, отстающий ученик, вот, а так – чтобы какая-нибудь... если директор... вот носимся мы по коридору, носились, нам это запрещали, но и разрешали, так, тоже надо подвигаться. А если вышел из учительской директор, враз – все смирно стоят, уже не побегут. Перед учителем обыкновенным мы еще можем бегать. А если директор вышел – все. Вот так уважали. Я все хочу в этой школе... ну, я езжу в Пестово летом, когда уже нет занятий, а все мне хочется приехать и побеседовать с этими учениками, которые такое позволяют себе. И объяснить им, что они не будут ничего понимать в школе – а я все равно физику я не понимаю, они так говорят – я хочу им объяснить, что они поймут только тогда, когда полюбят всех учителей. Вот если ты любишь учительницу, я бы это физиологически объяснила им, так ты и будешь от нее понимать. А если такое отношение... Вот здесь теперь, в Петербурге, моя правнучка – она в ча-стной школе. Ну вот. За ней приехал шофер. Она там чего-то еще задержалась, потому что частная школа далеко, не в районе, ее возит туда шофер. И этот шофер, молодец, умница, вдруг слышит – дверь полуоткрыта и там урок идет. И он слышит, ученик говорит: «А что это вы мне поставили тройку?» Она спрашивает: «А что тебе надо?» – «Конечно, четверку». – «Ну, ты же мне плохо ответил. Вот ты в следующий раз, вот ты подучи...» – «Кончай базарить, ставьте мне четверку». Ну, как учителю сказать «кончай базарить»?! Ну вот. Ну, этот шофер тут же доложил отцу моей правнучки, и он дал команду Любе, своей жене, найти другую школу. Как можно держать в такой атмосфере?.. Ну вот. А у меня в подъезде жила этажом выше Марина, она тоже учительница английского языка в школе в нашей, в обычной школе. И выхожу, она, значит, гуляет, мальчик у нее маленький, она гуляет. Ну, я остановилась, по-соседски, я говорю: «Как вам работается?» – «Да ну, очень трудно, в классе много народу, дети сейчас очень...» Я ей рассказала вот этот – «кончай базарить». Она так смотрит: «Обычный разговор». Я говорю: «Марина, а как же, говорю, можно дальше так работать?» Она кричит: «А куда денешься?» Если это на мой бы характер, я бы лучше пошла в уборщицы. Чтоб такое... Или б уж я их сломила.

- Так как же все-таки про Павлика Морозова, расскажите все-таки поподробнее.

- (смеется) Ну слушайте, ну трещали нам про этого Павлика, что он такой герой, что он такой хороший, что вот он, значит, отца родного, и все равно это он донес, что вот он такой-сякой. И повторяли, как попки. Ну а мои вот переживания, я вам говорила... А я смотрела на отца своего. Ну как можно – вот я бы пошла там что-то... У меня никак... ну, как вам сказать, я не дам правильную характеристику отношения всех детей. Потому что я сама из такой семьи, понимаете? И сама еще отбыла срок. Как я могу не осуждать? У меня полное было осуждение этого Павлика Морозова. Но только я знала, что ни за что нигде нельзя рот открыть об этом. Что вот это... четко знала, все время следила за собой, все время я была начеку.

- А пионеркой были?

- Нет, меня не взяли. Я галстук носила, а пионеркой – так получилось. Я уже в пятом классе, это был пятый, да... вот уже нас принимали, значит, в пионеры. А в пионеры

принимали так. У нас вот у лесозавода был клуб, и в воскресенье торжественно там принимали. Процедура была такая, что пионервожатая накануне говорила: такой-то приходит... не сразу, не так агулом, не весь класс, а так, выборочно, выборочно, якобы лучших. Ну вот, она заходит в класс и говорит: «Ребята, вот такой-то, такой-то, такой-то и такой-то, завтра придите – будем принимать в пионеры». Ну, в первый этот десяток я не попала, ладно. Второй жду – опять не попала. Учусь хорошо, ну, немножко подшаливаю, ну и ничего, я нигде ни в чем таком не заподозрена. Тогда я подхожу к ней и говорю: «А чего-то меня нету? Почему вы меня не назвали? Когда вы меня назовете?» Она: «А, ну, приходи и ты». Я и обрадовалась, я и пришла. Ну вот, она выходит. Там несколько, там было четыре школы, значит, с каждой школы уже сколько-то набралось, не знаю, пятьдесят человек, тридцать человек... Ну вот, она перед залом зачитывает фамилии, вот такие-то ребята, поднимитесь на сцену. А меня опять нет. Я сижу. Все вышли. Предупреждено: белая кофточка, черная юбочка. Вот они выстроились в ряд, как сейчас вижу. Ну, она сказала какие-то слова общие, я не очень запомнила, что вот вы в такие ряды вступаете, потому что я сидела очень огорченная, и, значит, потихоньку плакала. И, потом прошла и повесила им вот на белую кофточку вот так повесила галстук. И одному – вызвала одну девочку – и показала, как завязывать этот галстук. Дальше она сказала: «За дело Ленина-Сталина будьте готовы!» Все ответили: «Всегда готовы!». И на этом и кончился, призыв. И вот я отлично помню, когда я плакала, я понимала, почему меня не берут. Потому что я, ну, ссыльная. Как же это?... Это уже тогда я разбиралась. Но ходят же люди-то с галстуком. Чего-то после школы остаются там, запираются в пионерскую комнату. Ну, я же ребенок, мне же тоже хочется. И я понимаю, что эта Шура не может, в своей воле, так сказать, мне разрешить или принять... Я тоже понимала, что не от нее это зависит. Вот я это понимала точно. Так я ее только попросила: «А можно я просто галстук буду носить?» Она говорит: «Носи, носи». Ее не принимали, но девочка просто сама одела галстук, понимаете? Для меня это было хорошо, и для нее... Ну и вот, я стала носить галстук и там участвовала в этих всех их играх, ну так ничего, до комсомольского возраста и проболталась. Ну а поскольку там пионер, да хорошо я училась, так меня прикрепляли все к отстающим, это была моя постоянная нагрузка, и комсомольская, и пионерская. Оставалась я, или ко мне приходили... Меня это очень устраивало, не политическая никакая была нагрузка. Потому что я официально...

- А вы разделяли даже уже тогда политическую и неполитическую?

- Нет, думаю, что нет. Это я сейчас формулирую, думаю, что тогда нет. Но я понимала, что это вот пионерская нагрузка, я должна... Ну я выполняла, и все.

(конец записи на 2-й кассете, сторона В)